

**СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВ**

КОГДА БОГИ
СПЯТ

Сергей Алексеев

Когда боги спят

«Алексеев Сергей»

2003

Алексеев С. Т.

Когда боги спят / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей», 2003

Слова незнакомой старухи, обвинившей экс-губернатора Анатолия Зубатого в том, что он своего предка, святого старца, «обрек на геенну огненну», оказались отнюдь не религиозным бредом. После той встречи политик, недавно похоронивший сына и потерявший высокий пост, но не влияние, начал расследование собственного преступления, о котором раньше даже не подозревал...

© Алексеев С. Т., 2003

© Алексеев Сергей, 2003

Содержание

1	5
2	16
3	26
4	38
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Сергей Алексеев

Когда боги спят

1

Вот уже второй месяц, почти каждый вечер, ровно в половине десятого, он приходил к девятиэтажному дому на Серебряной улице и, не приближаясь, стоял на другой стороне, между осенних, холодных лип. Место было безлюдное, обыкновенный спальный микрорайон, где жители к этому часу сидят по квартирам и мимо проскакивают лишь редкие автомобили, обдавая водяной пылью. Фонари горели через один, и он совершенно не заботился, что его могут узнать, не поднимал воротника, никак не маскировался, стоял с обнаженной головой минут десять, глядя то на кромку плоской крыши, то на длинный железобетонный козырек подъезда, будто совершая прыжок. Он не хотел вспоминать и не вспоминал, что здесь произошло, но явственно чувствовал, как всякий раз обрывается душа, захватывает дыхание, и вместо крика вырывается беззвучный, астматический стон, после которого напрочь садятся голосовые связки.

«Я слишком поздно родился, – про себя кричал он, – чтобы жить с вами, люди!..»

Если в такой момент из-под колес в лицо летел «плевок», он молча и невозмутимо утирался, снова поднимался взглядом вверх, замирал там и, оттолкнувшись, летел вниз.

Из такого мучительного, самоистязающего состояния обычно его выводил Хамзат, незримо присутствующий все это время где-то слева и сзади.

– Анатолий Алексеевич, пора ехать, – бубнил он в ухо одну и ту же фразу. – Екатерина Викторовна будет переживать.

Всякий раз на короткий миг его голос казался неприятным, каким-то гнусаво заговорщицким, и потому у него давно сидела в голове мысль освободиться от начальника личной охраны – нельзя держать рядом человека, который часто раздражает, выводит из себя и бывает отвратительным. Однако разум всегда побеждал быстрее, чем созревало окончательное решение: Хамзат слишком долго следовал за ним тенью, немало слышал и знал, и давно из телохранителя превратился в тайного советника с восточным, лукавым и изощренным умом. Хочешь не хочешь, а его приходилось привлекать ко многим личным и служебным проблемам, поскольку он всегда под руками и готов помочь. Так что избавиться от него без веской причины, только из-за таких вот мгновений неприязни, становилось почти невозможно. И все-таки эти мелкие, отрицательные зерна незаметно накапливались в сознании, и он понимал, что когда-нибудь, в далекой перспективе, они прорастут все разом, как озимая рожь, и тогда уже будет все равно...

Не проросли, не успели, обстоятельства резко изменились, и он сейчас с удовлетворением думал, что скоро избавится от Хамзата навсегда помимо своей воли.

Напоминание о переживаниях Екатерины тоже ничуть не тревожило и не вызывало сострадания, наоборот, он обнаруживал в себе мстительное и потому пугающее чувство. Пусть хоть всю ночь сидит и ждет, пусть мечется по пустому дому или ревет перед запертой и опечатанной дверью Саши и потом, наплакавшаяся, красноносая и жалкая, в одиночку пьет вале-рянку напололам с коньяком и, пьяная, говорит сама с собой.

Возвращаясь по вечерам с Серебряной улицы, он заставал жену то в полубезумном состоянии, когда она читала стихи, бродя по залу с закрытыми глазами, то спящей в непотребном виде посреди коридора и даже пьющей водку в компании строителей, которые завершали реставрацию старинного каменного забора. И ни разу ничто не ворохнулось, не дрогнуло в

душе, поскольку уже родилась и существовала подспудная мысль, что всему этому когда-то тоже придет конец.

И она чувствовала это, когда немного приходила в себя, обычно говорила обиженно, жестко и угрожающе, словно бывшему мужу:

– Можешь не волноваться, Зубатый. Я скоро освобожу тебя, оставлю в покое. Потерпи еще немного.

В этот раз Хамзат потревожил немного раньше, поскольку еще днем пошел снег с дождем, а зонтика не оказалось, и стоять в такую погоду с непокрытой головой было не только знобно, но и опасно для здоровья, о чем и прогундосил телохранитель.

– Дай закурить, – попросил Зубатый.

– Не курю, Анатолий Алексеевич, – доложил тот. – Вы знаете, давно бросил...

– Ну так найди сигарет! Пойди купи, стрельни у прохожих!

Телохранитель находился в штатном, то есть спокойном состоянии, и потому тянул время.

– Как это – стрельни?

– Ты что, не спрашивал на улице закурить?

Чуткий к состоянию хозяина, Хамзат мгновенно услышал гнев и молча направился к далекой светящейся торговой палатке на противоположной стороне.

И в это же время где-то за спиной Зубатого задребезжал распевный старушечий голосок:

– А что, батюшка, тянет на это место? Не желаешь, да ноги ведут?

Мимолетные эти слова могли не касаться его, и, вообще, в первый миг возникло чувство, будто голос звучит в нем самом, и все-таки он обернулся, поскольку именно так все и было – не хотел, а шел сюда.

Невзрачная, ссутуленная бабулька стояла в двух шагах и заглядывала ему в лицо. Старенькое зимнее пальто с шалевым цигейковым воротником, темный платок и сверху – давно потерявшая форму и вытертая кунья шапка. Кажется, в руках еще была дамская сумочка или обыкновенная хозяйственная кошелка, но свернутая и прижатая локтем к боку.

Таких старушек Зубатый повидал множество и когда-то, искренне желая помочь, выделял специальные часы в конце дня и принимал до тех пор, пока в администрацию не хлынул мощный поток обездоленных пенсионеров и пока не дошло до самого, что дело это бесполезное. Осчастливить всех оказалось невозможно, и потому он распорядился записывать и пускать в кабинет лишь заслуженных, известных ветеранов или их вдов. Старость делала людей настолько похожими, что Зубатый плохо различал их, как, например, китайцев или японцев, которые непривычному глазу всегда кажутся на одно лицо, потому узнать бабульку, да еще и в осеннем полумраке, он не мог.

А она узнала его, мало того, ей было известно, что случилось возле девятиэтажного дома напротив. И видимо, давно наблюдала, выбрала момент, когда Хамзат оставит пост...

– Тянет, – признался он. – Ноги ведут...

– Подумал бы, может, душа не чиста? – спросила вкрадчиво. – Может, покаяния просит? Ты ведь, батюшка, то вверх, то вниз зыркаешь, будто сам скакануть примериваешься. Да выше пупка не прыгнешь.

Зубатый ощутил толчок недовольства, и надо было бы отвернуться от блаженной бабки или вовсе пойти вдоль улицы к оставленной за перекрестком машине. Крикнет что вслед – и пусть, кругом ни души, да и теперь стало как-то все равно: слухи по городу носились самые разные, нового ничего не услышишь...

Однако не ушел и даже не отвернулся, лишь кепку натянул на голову.

– Скажи еще, это я толкнул его с крыши, – проговорил он отрывисто, выискивая взглядом Хамзата. – И хожу сюда, как убийца к месту преступления.

– Напраслины не скажу, не возьму греха на душу. Мне нельзя лгать, с вас Боженька один раз спрашивает, а с меня каждый день.

Только сейчас Зубатый сообразил, что перед ним психически нездоровый человек. Вот и гримасничает постоянно, вроде голова трясется...

– Иди домой, – посоветовал он. – Тебя, поди, потеряли, час поздний...

– А ты не командуй! – оборвала старуха. – Все, откомандовался. Вон как тебя расчихвостили! Как петух щипаный выскочил!

Видимо, она была из тех вечно обиженных, безутешных и обозленных до душевного срыва пенсионеров, обобранных за последнее десятилетие до нитки, отчего с ними уже нельзя было разговаривать.

– Тебе что нужно-то, бабушка? – мирно спросил Зубатый, выискивая глазами Хамзата. – Скажи, я помогу.

– Нет, батюшка, ты себе помоги, – заявила она, прикрываясь рваной рукавичкой от ветра. – Мне-то уж ничего не нужно. Не на этот дом тебе бы смотреть, а на помыслы и дела свои. Неужто и горе не вразумило? Ведь это наказание пришло тебе через ребенка! Он ведь нас через детей учит, через них и наказывает. Бог-то покарал, будто вора, – правую руку отсек. Не признаешь, не искупишь греха, ведь и левую отрубят! Замуж дочку выдал за границу, так ведь и там настигнет его десница!

Зубатого передернуло от знобящего страха и омерзения: такого ему не говорили еще ни за глаза, ни в лицо, ни вслед! На минуту он ощутил полную незащитность перед этой больной старухой, бросающей невероятные, чудовищные обвинения и угрозы. Ничего сразу ответить не смог, лишь спросил чужим голосом:

– Что же я сделал, бабушка? Убил кого, что ли?

– Ладно бы убил, другой и спрос тогда. Ведь на муки смертные послал старого человека. И не чужого – предка своего, сродника кровного. Святого старца обрек на геенну огненную!

Он не понял последних слов, переспросил:

– Какого старца? Не знаю я такого!

– Знаешь! И вот свершилось! Пришел час расплаты! Дорого с тебя взял Господь!

Он отшатнулся, а старуха потрясла сумкой и добавила неожиданно низким голосом:

– Ищи Бога, а не власти, ирод! Поди покайся!

– За что покаяться, бабушка? – уже вслед ей спросил Зубатый.

Старуха будто не услышала и заковыляла наискосок через улицу, в сторону торговой палатки, оставив его в сложном, непривычном состоянии замешательства, оцепенения и негодования одновременно.

Когда вернулся телохранитель, Зубатого колотило, и это не ускользнуло от глаз бывшего чекиста.

– Что с вами? – настороженно спросил он, подавая пачку сигарет и зажигалку.

– Ничего, замерз, – обронил он, не готовый что-либо объяснить. – Тебя за смертью посылать...

– Там очередь. – Хамзат рассматривал его придирчиво, будто искал некий внешний изъян в теле. – Что тут произошло, Анатолий Алексеевич?

Зубатый распечатал пачку, прячась от ветра, прикурил сигарету, и от первой затяжки закружилась голова. Он не курил постоянно уже лет пятнадцать, а так, баловался время от времени, чаще всего на охоте, на радостях, когда отстреливал зверя. Впрочем, и выпивал от души тоже по этому случаю, с егерями, от восторга и ликования. И никогда – от горя.

– Старуху сейчас видел? – между прочим поинтересовался он.

– Какую старуху? – У телохранителя была дурная привычка – все переспрашивать, таким образом выигрывая паузу, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение.

Эта неисправимая хитрость иногда бесила и обезоруживала. По той же причине Зубатый терпеть не мог американское кино и современную драматургию, где пустоватые диалоги строились на постоянном, выматывающем душу переспрашивании, будто собрались глухие и бестолковые. Но если телевизор можно выключить, а со спектакля уйти, то с Хамзатом ничего сделать невозможно, а перевоспитанию этот кавказец не подлежал.

– Она попалась тебе навстречу, – устало объяснил он.

– Встретилась, – признался телохранитель. – Горбатая, с кошелкой...

– Ну и ладно.

Зубатый отшвырнул сигарету и пошел к машине. Крупная нервная дрожь понемногу улеглась, и теперь лишь изредка потряхивало, словно и впрямь от озноба. Какое-то время он еще отрешивался от навязчивого образа полоумной бабки, старался не думать над тем бредом, что она несла, и отвлекался сиюминутными ощущениями холодной, сырой осени, но стоило оказаться в теплом салоне джипа, как вновь заколотило, и пришлось стиснуть выбивающие чечетку зубы.

– Что с вами? – затревожился Хамзат. – Лица нет.

– Кажется, простудился. – Зубатый обнял себя и напрягся. – Температура... Давай домой.

– Может, врачу показаться?

– Домой!

Дореволюционный губернаторский особняк по его же распоряжению отреставрировали еще четыре года назад, и теперь Зубатый жил, можно сказать, на казенной квартире с интерьерами девятнадцатого века, с казенной, павловских времен мебелью, и все это ему напоминало самый обыкновенный провинциальный музей, но никак не дом. Правда, был короткий период, когда ему такое положение вещей нравилось, и он даже успел почувствовать, как стиль быта – архитектуры, красок, убранства, мебели – незаметно начинает диктовать стиль бытия. По крайней мере месяца три сам Зубатый и, как выяснилось позже, вся семья начали жить неторопливо, размеренно и при этом с обостренным чувством заботы и ответственности друг перед другом.

Однако счастливое это время так же незаметно и по неясным тогда причинам для него закончилось, все опять стало, как всегда, стремительно, суетливо, современно, и он неделями или вовсе не видел Сашу и жену, или видел только спящими, а старшая, Маша, уже жила у мужа в Коувале. Но странное дело, Катя, потомственная крестьянка из Самарской губернии, дочь механизатора и доярки, за этот короткий период превратилась в барыню со всеми вытекающими последствиями. Вероятно, стены в губернаторском особняке, мебель, камин, лепные узоры – все, вплоть до старинных дверных ручек, было насквозь пропитано барственным духом. Сначала появилась домработница, потом кухарка, а когда за счет музея жена выхлопотала себе дворника-садовника, Зубатый не выдержал и всю прислугу выгнал. Катя не разговаривала с ним ровно три месяца, жили в неубранном доме, питались в столовых на работе, после чего, невзирая ни на что, жена завела приходящую помощницу по дому. Он плюнул и перестал обращать внимание на все житейские проблемы.

Пожалуй, с тех пор и начала проявляться нелюбовь к этому дому, спорадически превращаясь в ненависть, и как-то однажды неожиданно для себя и полушутливо он пожаловался директору областного исторического комплекса, как трудно и нелепо жить в музее, и не вернуть ли губернаторский особняк назад, в памятники архитектуры.

Теперь, после проигранных выборов, он должен был съехать отсюда и передать этот музей вновь избранному губернатору Крюкову.

Однако сейчас у Зубатого возникло обратное чувство: старинный дом, огороженный высоким кирпичным забором, показался крепостью, где его никто не достанет: чувство безопасности напоминало детские страхи, когда бежишь через темные сени в светлую избу.

Охранник растворил ворота, джип въехал во двор, и знобящая осенняя улица на какое-то время осталась в другом мире. Зубатый выбрался из кабины, привычно махнул Хамзату и сразу же направился к вольеру, устроенному на хозяйственной стороне двора – за сеткой уже молниями металась две скулящие рыжие лайки.

Он любил собак, держал их всю жизнь, но больше служебных или комнатных, из которых запомнились всего две – черный терьер, погибший под колесами автомобиля, и сдохшая от старости беспородная дворняга. Остальные прожили вроде бы рядом, но словно в параллельном мире и вспоминались лишь к случаю. К охоте Зубатый пристрастился всего лет десять назад, потому раньше никогда не заводил охотничьих собак, не понимал их, считал пустыми и бесполезными. И лишь когда впервые поехал в компании бывалых утятников на весенние разливы, пострелял от души из чужого ружья, посмотрел, как спаниель ловко достает битых птиц из ледяной воды и подает в руки хозяина, умилился, восхитился и заказал щенка. После охоты на барсучиных норах он купил у егеря взрослого фокстерьера и тоже искренне привязался к нему. Спаниель был бесшабашно ласковым, вертлявым и трусоватым, фокс нелюдимым, туповатым, склонным к бродяжничеству, но зато бесстрашным и отчаянным; оба они дополняли друг друга, жили в доме на коврах, как бы вписываясь в интерьер, и длительное время Зубатый не помышлял о других собаках. Пока не пристрастился к зверовой охоте и не увидел в работе лаек. Первого медведя на овсах он стрелял с помощью егеря, и потому охота оказалась успешной, а вот второго уже бил с лабаза в одиночку и сделал подранка. Зверь убежал с поля в густую лесную кромку, трещал там чащебником, и Зубатый в азарте полез было добирать подранка, но Хамзат встал грудью – не пустил и сам не пошел. Тогда вызвали по рации охотоведа, но тот припоздал, приехал уже в сумерках, когда соваться в заросли стало еще опаснее, но зато привез двух молодых, прогонистых кобельков, вроде как натаскать по кровавому следу. Спущенные с поводков лайки тут же взяли след, метнулись в лес и через минуту начали профессионально работать. Зубатый никому не разрешил добирать подранка, в сопровождении Хамзата и охотоведа сам подошел и добил медведя из-под собак. А те, взволнованные и восторженные не менее охотника, кинулись к нему, стали ласкаться, прыгать на грудь и лизать руки. Тогда он еще не знал характера лаек и решил, что они признали его как хозяина, вожака стаи, и когда выпили «на кровях», приобнял охотоведа и попросил по-свойски подарить кобельков. Тот почему-то замешкался, задержал плечами, но тут вмешался Хамзат:

– Подари, Анатолий Алексеевич просит! Он в долгу не останется.

Так и стали эти лайки любимыми и единственными собаками губернатора: фокстерьер в первый же день попытался взять верх над новенькими, однако зверовые собаки сделать этого не позволили, и тогда он просто ушел из дома. А разьевавшийся комнатный спаниель от ревности перекусал всех домашних и настолько озлился, что пришлось свести к ветеринарам и усыпить.

Зубатый забрался в вольер и присел. Взматеревшие кобели не проявляли прежней щенячьей ласки, однако все-таки ткнулись носами в щеки, потерлись мордами о колени и завили хвостами. Они существовали рядом уже третий год, и теперь он хорошо знал повадки этих добродушных, беззлобных к человеку собак, что бы там ни говорили, но готовых признать за хозяина любого, кто кормит и берет с собой на зверя. И чем выше у них охотничьи качества, тем безразличнее им, кто из людей станет вожаком стаи. Вначале это обстоятельство шокировало, и надо было еще привыкнуть к столь неожиданной продажности. Он отлично помнил преданность и верность служебных псов, того же Грома – черного терьера, который заболел, если Зубатый на день задерживался в командировке, отказывался есть и пить до тех пор, пока вновь не почувствует на голове хозяйскую руку. Было тайное подозрение, что и погиб-то он по своей воле, когда Зубатого полтора месяца не было дома, а Саша вывел его погулять (тогда еще жили в обыкновенной квартире на Химкомбинате) и не удержал – будто бы в поле зрения Грома попал кот. Пес вырвал поводок из рук подростка, рванул через улицу и угодил под колеса...

Зубатый сжал кулаки и усилием воли остановил воспоминания – дальше нельзя слушать чувства, потому что нить памяти уже опять приплелась к Саше. Он механически ласкал и гладил любимых собак, играл с ними, таская за хвосты и вызывая тем самым веселый визг. В замкнутом пространстве вольера он окончательно успокоился, согрелся собачьим теплом и забыл больную старуху и даже дом на Серебряной улице. Но стоило выйти во двор и затворить дверь, как перед глазами, будто наваждение, вновь встала девятиэтажная коробка с квадратами ярких окон, и вкрадчивый старушечий голосок пропел за спиной: «А что, батюшка, тянет на это место?..»

Зубатый умел владеть собой, считал себя достаточно хладнокровным, понял, что такое неврастения, глядя на некоторых слабонервных сотрудниц аппарата да в последнее время на свою жену, и не хотел поддаваться излишним чувствам, способным в короткое время разрушить психику. Он держался все эти полтора месяца, зажимая себя в кулак, хотя физически ощущал, как горе, будто едкая кислота, уже поразило и атрофировало определенный участок мозга, отвечающий за силу воли. И все равно Зубатый держался, стараясь даже не прикасаться мыслью к случившемуся, и ничего не мог поделать только с невероятным притяжением к дому на Серебряной улице. Но и это бы он пережил, перемолол в себе необъяснимые желания, и болезненная короста постепенно отвалилась бы сама, да сегодня неведомо откуда возникшая старуха сковырнула ее с хирургической беспощадностью.

Он стоял на хозяйственном дворе губернаторского поместья, теперь уже чужого, слушал лай собак в вольере и в самом деле ощущал, будто ему отрубили правую руку: чувствительная кисть, недавно ласкавшая собак, почему-то онемела, очужела, как бывает, если отлежишь во сне.

Стоял, думал и признавался себе, что все было не так, что от спаниеля не он пришел в восторг на утиной охоте, а Саша, и это он попросил купить щенка. И он же потом вынудил взять у егеря фокстерьера. Зубатый только радовался внезапному пристрастию сына к охоте и животным, поскольку всегда считал, что на Сашу большое влияние оказывают жена и старшая дочь, что он из-за постоянных разъездов, командировок да и самой работы отца получает женское воспитание, поскольку начиная с детсада и до старших классов школы его окружали женщины-воспитатели, женщины-учителя и женщины-репетиторы. И теперь то, чем наполнили его, надо было разбавить мужским началом, а что здесь может быть лучше охоты, где чисто мужской коллектив, где с оружием в руках нужно добыть зверя? Испытать стресс, ощутить адреналин в крови, попробовать перешагнуть через собственный страх, когда в лесной кромке лежит раненый зверь и надо идти добирать его, лезть в сумеречные заросли без прикрытия и собак.

Все было не так! Не Зубатый, а Саша стрелял тогда по медведю и сделал подранка. Это он рвался идти на добор, ибо у него в первый и в последний раз светились глаза истинным мужественным огнем. И они бы пошли вместе, плечо к плечу или спина к спине, но вмешался Хамзат – не пустил и сам не пошел. Кричал на все поле, грудью становился на пути и еще совестил, мол, ты куда сына родного толкаешь? А Сашу нужно было натаскивать по кровавому следу, как молодых кобельков, только один раз дать возможность отработать по раненому зверю, и он бы родился мужчиной, и тогда бы не случилось того, что случилось...

А пока ждали охотоведа с собаками, он перегорел, обвьял, потерял интерес, хотя это он подошел и дострелил медведя. И потом выпил со всеми, но уже стеснялся поздравлений с полем, краснел, как девица, и первого добытого зверя обходил стороной. Случайно перехватив его взгляд, Зубатый увидел не семнадцатилетнего парня, а перепуганного, растерянного мальчишку с вопросом в глазах – что я натворил?..

Но еще оставалась надежда, ибо Саше понравились лайки, и он вроде бы загорелся, однако не хватало ни смелости, ни мужества самому попросить их. Зубатый понимал, что вот так, своей властью, забирать у хозяина выкормленных, выпестованных, к тому же теперь про-

веренных в деле собак нельзя ни по каким правилам и законам. Понимал и одновременно хотел спасти положение, и стал говорить охотоведу, мол, не плохо бы этих лаек подарить молодому охотнику, чтобы он до конца испытал миг счастья и навсегда приистрастился к мужскому занятию, – в общем, неверные, неправильные слова произносил, потому и не мог быть убедительным. Охотовед слушал и лишь моргал, не зная, как относиться к столь неожиданной, «незаконной» просьбе губернатора, и тут опять влез Хамзат. Отозвал в сторону и объяснил популярно, по-кавказски, дескать, что гостю понравилось – подари, а он уж отдарится, не беспокойся. Зубатый и отдаривался за кобельков вот уже два года: сначала нашел спонсора и заставил его раскошелиться на новый «УАЗ» для охотоведа, потом пригнал ему колесный трактор. А у охотоведа аппетиты лишь разгораются, недавно запросил трелевочник и делянку строевого леса, чтобы зимой, в межсезонье, подзаработать на продаже древесины – зарплата маленькая...

Да наплевать бы на все, пойдя эти собачки на пользу! Не спасли они ничего, и после той медвежьей охоты Саша замкнулся, долго ходил молчаливым, а потом вдруг принес и сдал отцу дробовое ружье и чешский карабин «Брно», привезенный в подарок из-за рубежа. Зубатый попытался добиться каких-либо объяснений, достучаться, а уже было поздно, поскольку у них в доме стал появляться известный на весь мир режиссер Ал. Михайлов, эдакий вальяжный усатый котяра-барин. Впервые в городе он возник с группой поддержки во время избирательной кампании президента – подрядился силой своего таланта пропихнуть его на высший государственный пост и, естественно, представился губернатору. Заочно Зубатый знал режиссера как облупленного, и не только по части театральной: когда-то жена заканчивала у него Высшие режиссерские курсы при ВГИКе и на всю жизнь осталась восторженной поклонницей.

Разумеется, Ал. Михайлов был приглашен в дом, произвел сильное впечатление на детей, и еще тогда Зубатый услышал от него мимоходом, что охота на птиц и зверей – это плохо и при современном оружии больше похоже на убийство, а устраивать развлечения, убивая, – это несопоставимо с понятием гуманности. У режиссера было много аналогичных теорий, на которые тогда Зубатый не обращал особого внимания, относя их к джентльменскому набору светского льва. Однако жена имела иное мнение и, похоже, начала капать на мозги Саше. У нее в те дни появился замысел «поступить» его на актерский факультет и определить в семинар мастера Ал. Михайлова. Она бы и дочку устроила туда же, но Маша уже заканчивала юридический факультет в местном университете и собиралась уезжать к мужу в Финляндию.

И вот когда пришло время поступать, Ал. Михайлов неожиданно воспротивился и начал искать компромиссные решения, как сделать из Саши актера. Несмотря на свою образованность, барственность и светскость, жена так и осталась неисправимой провинциалкой и никак не могла взять в толк, что все эти столичные «штучки» хороши и великодушны, когда сидят у тебя в гостях и пьют водку. Но стоит лишь доставить некие абстрактные неудобства в их жизни, чем-то потревожить ее или даже нарисовать тревогу в перспективе, как они тут же начинают изучать местные резервы. И вот с легкой руки Ал. Михайлова и при энергичном содействии жены Зубатый вынужден был заниматься организацией студии при областном драматическом театре, куда Сашу определили на учебу.

С этого момента и начался двухлетний путь на крышу дома по Серебряной улице.

Самых разных версий и противоречивых слухов было очень много, впрочем, как обвинителей, так и защитников немало нашлось, но так никто толком и не знал, почему Саша поднялся на девятиэтажку и прыгнул головой вниз на железобетонный козырек подъезда, заранее положив в карман короткую записку: «Я слишком поздно родился, чтобы жить с вами, люди».

Для Зубатого не существовало ни одной правдоподобной версии, как бы его ни уверял областной прокурор вместе с начальником УВД, что тут еще нужно разобраться, не исключено, Сашу толкнули с крыши, имитируя самоубийство, с целью опорочить губернатора перед выборами на третий срок.

И правда, опорочили. Сын погиб за неделю до повторного голосования, и сразу резко упал рейтинг популярности, а журналисты собачьим чутьем почуяли раненого, оставляющего кровавый след зверя, мгновенно закрутили в буреломнике мнений и суждений. Тогда Крюков хладнокровно подошел и добрал его из-под лающих газетных псов.

Местная ФСБ прозрачно намекала, что младший Зубатый одно время увлекся сатанизмом и баловался наркотиками, поскольку в студии при драмтеатре собралась не молодежная талантливая элита, а всякая околотеатральная шушера, точнее, дети этой шушеры – актеров, актрис, несостоявшихся режиссеров и прочих непризнанных гениев, по которым плачет психушка, и что в такой среде нормальный здоровый парень и за год сойдет с ума. А педагоги, подобранные Ал. Михайловым и приезжающие из Москвы читать лекции и принимать экзамены, будто бы подтягивая провинциальных студентов до уровня столичных, несут им всякую ересь, ориентируют на западные ценности и проповедуют такую свободу личности: мол, человек имеет право покончить с собой, если того захочет. И если он, Зубатый, сомневается в этом, то ему можно дать послушать оперативную запись подобной лекции.

Зубатый соглашался и с законниками, и со службой безопасности, но никому не верил и все время жалел о том, что послушал Хамзата и не повел Сашу на раненого хищника.

Он снял кепку, собрал с железной крыши вольера мокрые снежные крохи, растер лицо, голову и встряхнулся. Девятиэтажку действительно было видно со двора, но другую, пролетарскую, крупноблочную и в заречной части города, совсем не похожую на ту, что стояла на кирпичной Серебряной улице. И никаких сумасшедших старух здесь нет и быть не может!

Стиснув кулаки и зубы, он пошел к дому и увидел на парадном крыльце жену. Катя была тихая, трезвая, с чистым, не заплаканным лицом и единственным неестественным для нее предметом – дымящейся сигаретой между длинных, тонких пальцев.

– Что ты бродишь? – спросила как ни в чем не бывало. – Иди домой.

– Маше звонила? – Он сел на мокрые ступени.

– Она звонила сама...

Зубатый отнял сигарету у жены, затащил в рот и швырнул в лужу.

– У нее все в порядке?

– Какой там порядок, если погиб брат? – В голосе жены сразу послышались слезы, и, пожалуй, впервые за последнее время он почувствовал к ней жалость.

Дочь отправили к мужу в Коуволу чуть ли не насильно, после похорон Саши они с женой ревели с утра до ночи, беспрестанно заводя друг друга, и этот траурный тандем пришлось разорвать на третьи сутки, чтоб не сошли с ума. Возле «горячего» финского парня со слоновьим спокойствием Маше было бы лучше, чем с матерью-неврастеничкой.

– Давай позвоним, – мирно предложил Зубатый и принес из передней телефонную трубку.

– Зачем? Там уже ночь!

– Мне просто хочется поговорить с ней.

– Возможно, Маша уснула. Не нужно будить и напоминать!

– Тогда поговорю с Арвием.

– Ты никогда не разговаривал с ним...

– А сейчас хочу! – не сдержался он. – Ты что, запрещаешь говорить с зятем?

– Не запрещаю, пожалуйста. – Катя уже заводилась на слезы. – Но он не говорит по-русски!

Зять принципиально не учил языка, не понимал ни слова, хотя два года занимался бизнесом в России, и, когда приходил в гости, сидел, как чурка, хлопая остекленевшими глазами. Но оставалось легкое подозрение, что Арвий многое понимает и хитрит, прикидывается, чтобы послушать, как о нем будут говорить в семье Маши, особенно ее высокопоставленный отец, ибо стоило ему открыть рот, как зять начинал прислушиваться.

– Успокойся! – буркнул он. – Звонить не будем.

– погоди! – спохватилась Катя. – Почему тебе вдруг приспичило звонить? Ты что-нибудь слышал? Знаешь?

У него уже не было настроения рассказывать ей о ненормальной старухе, хотя на мгновение захотелось поделиться с женой и обсудить, почему совершенно незнакомый человек бросил ему малопонятные и страшные обвинения.

– Ничего я не слышал, – отмахнулся Зубатый. – Пойдем ужинать, выпьем по рюмке...

– Толя, ты что-то не договариваешь! О чем ты хотел говорить с Машей?

– Да ни о чем!

– Тогда почему спрашиваешь, все ли в порядке? У нее должно что-то случиться?

– Ну с чего ты взяла?! С чего?

Она ответила текстом из какой-то пьесы:

– Материнское сердце не обманешь...

– Сегодня на Серебряной подошла какая-то старуха, – неожиданно для себя признался он. – И напороочила... В общем, все это ерунда.

– Постой, что она напороочила?

– Да она больная, сумасшедшая! Не стоит обращать внимания...

– Заикнулся – досказывай! Что ты скрываешь от меня? О Маше говорила?

– Нам нужно беречь ее...

– От чего?

– Толком не понял. Несла какой-то бред...

– Найди эту старуху и спроси! Неужели не понимаешь, как это важно?

– Хорошо, найду и спрошу! – рассердился он. – Хватит об этом!

– Почему ты на мне срываешь зло? Почему все время кричишь на меня?

Зубатый промолчал, а Катя вновь стала плаксивой и жалкой.

– Я теперь стану думать о твоих словах... Как бы с Машей ничего не случилось.

– Думай! – бросил он, отворяя двери. – Мне уже отсекли правую руку...

У Зубатого язык бы не повернулся напрямую обвинить ее в чем-то или хотя бы высказать претензии, однако он считал жену виновной в том, что произошло, и считал так давно, еще до гибели Саши, когда она втянула сына в театральную богемную жизнь и отняла последнюю возможность пробудить в нем мужской характер. Да, здесь медвежью услугу оказал знаменитый Ал. Михайлов; одной матери вряд ли бы удалось согнуть упрямого, себе на уме, сына, а этот респектабельный, всемогущий барин и органичный актер играючи убедил парня, что у него явный талант лицедея. Просто мужик приехал в провинцию, расслабился, а тут еще встретил свою ученицу, вспомнил что-то из молодости, и ему захотелось побыть немного широким и благородным. Разумеется, Катя цвела и пахла от радости, а Саша сдал карабин и почти перестал разговаривать с отцом, и однажды, когда Зубатый собирался на охоту, открыл дверь к нему в кабинет, понаблюдал, прислонясь к косяку, и обронил фразу, почти скопированную у режиссера:

– Убивать для развлечения – средневековье, папа.

Потом он много раз жалел, что взвинтился и сразу заговорил грубо, по-мужски, полагая, что никто не слышит, но сдержаться не мог, ибо не терпел лицемерия, тем паче зазвучавшего из сыновьих уст.

– Ты мясо ешь? – спросил.

– Да, я плотоядный, – дерзковато признался Саша.

– Значит, кто-то должен убить животное, а ты только ешь? Кто-то режет горло, сдирает шкуру, пачкает руки в крови, а ты аккуратненько вилочкой ковыряешь жареную котлету. И остаешься гуманистом? Ты чист и безгрешен?

– Это демагогия, папа.

– Если это демагогия – ешь морковку и траву!

У сына уже тогда была мешанина в голове, хотя он только начал учиться в студии, причем мешанина с ярко выраженным юношеским максимализмом и откровенными атавизмами детства. Когда-то таких называли просто и емко – недоросль.

– Я бы с удовольствием стал вегетарианцем, – как-то вдруг беспомощно признался Саша. – Но для работы мозга нужен животный белок. И для роста мышц тоже...

– В таком случае соси титьку! – в сердцах посоветовал он, и тут из-за спины Саши вывернулась Катя:

– Ты как разговариваешь с сыном?..

Тут и случилась их первая, не связанная с театром, семейная крупная ссора, еще больше испортившая отношения с Сашей, а вернее, отдалившая его от отца. Внешне это почти не проявлялось, и через несколько дней все утряслось, сгладилось, но не само собой, а с помощью челночной дипломатии Маши, которая будто бы тайно бегала от отца к матери, затем к Саше и обратно. У нее был дар международного политика, умеющего сглаживать углы, находить компромиссы и предотвращать войны. Но вот что она нашла в этом финском бизнесмене, обликом и характером напоминающего туповатого, но способного пролезть в любую нору фокстерьера? Как-то не хотелось верить, что только деньги и жизнь в благополучной и тихой стране Суоми...

После того как сын отказался от охоты, неожиданный интерес к ней проявил сам Ал. Михайлов.

Однажды он пришел, когда Зубатый собирался на открытие весенней охоты и был в хорошем расположении духа. Для каждого мужчины, когда-то испытывшего охотничью судьбу и чувства ловца, добытчика, те самые чувства, что отличают его от женщины, сама охота начинается намного раньше, чем выход в поле, – со сборов, поскольку они становятся чуть ли не религиозным ритуалом. И вот, понаблюдав, как губернатор священнодействует с одеждой, боеприпасами и оружием, этот светский лев вдруг пожелал съездить с Зубатым хоть разок, без ружья, и лишь посмотреть, что же такого магического есть в древнем занятии и чем оно притягивает людей.

Безоружный Ал. Михайлов едва выдержал полчаса и, будучи человеком артистичным, творческим, не смог безучастно наблюдать, как невысоко над головой, с треском и шелестом крыльев летят стаи гусей и вдруг падают от удачных выстрелов. Он выхватил у егеря ружье и с мальчишеской страстью, забыв о своей известной персоне, упиваясь неведомой и диковатой радостью, открыл пальбу.

Режиссер не сбил ни одной птицы, да и без опыта сбить не мог в принципе, но один из егерей, желая ему потрафить, сдублировал выстрел, и когда матерый гуменник рухнул под ноги, Ал. Михайлов превратился в охотника. Впоследствии он купил несколько дорогих и редких ружей, позанимался стендовой и пулевой стрельбой, после чего стал приезжать на открытие каждого сезона. Охотился на все, что шевелится, бил кабанов, медведей и лосей, однако с особой хладнокровной страстью стрелял по гусям и валил их десятками, что в самом деле напоминало убийство...

...В парадной зале, где предыдущий губернатор устраивал балы, Зубатый увидел на зеленом картонном столике большую храмовую икону, горящие перед ней церковные свечи в старинном канделябре. Показалось, в воздухе витает запах ладана.

Это было что-то новенькое в поисках утешения жены: она всегда подчеркивала свои атеистические убеждения и скептически относилась к истовым новообращенным христианам-актерам. Видимо, смерть Саши встряхнула ее, поскольку сама пошла к владыке и договорилась, чтобы покойного отпели в кафедральном соборе, ибо своенравный настоятель отказался соборовать самоубийцу, а сам Зубатый старался не вмешиваться в тонкости православных традиций. Однако после этого в церковь больше не ходила, заливая горе валерьянкой и коньяком,

не поддаваясь ни на какие уговоры, что лучше первое время быть на людях, заняться каким-то делом и не оставаться в одиночестве.

Когда-то Катя работала в ТЮЗе очередным режиссером, ставила детские спектакли с зайчиками, мышками и была почти счастлива. Как только Зубатого назначили тогда еще главой администрации области, ушла на «вольные хлеба», подыскивала себе пьесы и делала один спектакль в год. Но всегда оставалась недовольной своим творчеством, хотя премьеры проходили с аншлагом, местная пресса нахваливала и отвешивала комплименты, а причина тут была одна – жена губернатора. И потому недовольство часто оборачивалось против мужа, который находил спонсоров или выкраивал бюджетные деньги на постановки и помощь театрам, таким образом неожиданно завоевывая себе славу покровителя искусства.

То есть получался обратный эффект: рассчитывал помочь жене, чтобы избежать домашних обид и разборок, а помогал себе и тем самым вызывал еще больше упреков. В последнее время, когда Катя стала руководителем студии при драмтеатре, круг этот разорвался, однако после смерти Саши жена категорически отказалась выходить на работу, мол, ей все там будет напоминать о сыне, и теперь Зубатый не знал, чем ее занять. Ко всему прочему, в театре началась отвратительная и мерзкая возня за вакантное место, и к покровителю, уже не имеющему официальной власти, втайне зачастили ведущие актеры и режиссеры, вроде бы с соболезнованиями, а на самом деле с доносами друг на друга. И если в прошлом их фантазии ограничивались в основном взаимными обвинениями в антисоветизме и антипартийности, то сейчас те же люди, разве немного постаревшие, уличали друг друга в голубизне, лесбиянстве и педофилии.

Икона и свечи несколько вдохновили: может, здесь она найдет отдушину и пристанище для своей мятущейся души? И только так подумал, как жена вошла в зал, молча и бездумно прикурила от свечи идохнула дымом.

– Я на кладбище была. Потом владыка заезжал, с отцом Михаилом... Молебен отслужили в храме. Сегодня сороковой день...

2

Полномочия он сложил сразу же, как только узнал разгромный счет, и теперь, согласно областному закону, ходил на работу вроде бы для подготовки хозяйства к сдаче вновь избранному губернатору, а на самом деле по привычке и еще потому, что надо было ждать из Москвы приказа о новом назначении – скорее всего, генеральным директором Химкомбината.

Да и тяжело было оставаться дома и смотреть, как жена постепенно сходит с ума.

Его обязанности исполнял первый заместитель, приземистый, тучный молдаванин Марусь, прошедший с ним всю дорогу от комсомола и потому в узком кругу носивший прозвище Мамалыга. Несмотря на вес и неповоротливость, человеком он был деятельным, энергичным, подкованным во всех хозяйственных вопросах, так что Зубатый был спокоен. Но сам Марусь, привыкший всю жизнь ходить под ним, бегал советоваться по каждому поводу, и в администрации считали, что управляет по-прежнему Зубатый. Несколько раз он публично, при большом стечении чиновников, а потом и журналистов, опровергал все слухи, говорил, что после сдачи дел и инаугурации поздравит нового губернатора и уйдет с высоко поднятой головой, и ему вроде бы верили, но за десять лет привыкли и не хотели расставаться, с опаской поглядывая на молодого, бойкого реформатора Крюкова – как-то еще будет?

Сам не зная зачем, Зубатый считал дни до инаугурации и каждое утро то с облегчением, а то со странной тревожной печалью отнимал один день. Оставалось еще четыре.

Как всегда, с утра он зашел в вольер, потрепал холки обрадованных лаек, пощупал носы и, снова вспомнив, как достались ему любимые собаки, решил в один момент – взял на сдвоенный поводок, вывел и посадил в машину.

– Мы куда, Анатолий Алексеевич? – спросил телохранитель Леша.

– В охотхозяйство, – обронил он и потом молчал всю дорогу.

В избирательную кампанию это хозяйство стало одним из аргументов Крюкова: как только не изощрались журналисты-наемники, какие только картинки не рисовали местные карикатуристы относительно царских увлечений губернатора и расходования бюджетных средств. На самом деле на обустройство базы и содержание охотугодий не ушло ни единой бюджетной копейки: спонсоров, желающих вложить какие-то деньги в возможность поохотиться с губернатором, а заодно решить свои вопросы, можно было в очередь выстраивать. Однако все они скромно промолчали, когда в прессе пошла лавина вранья, никому не хотелось признаваться в угодничестве, которое еще недавно выдавалось за радение о природе, и теперь судьба охотхозяйства висела в воздухе – говорили, Крюков ненавидит охоту и презирает людей, ею занимающихся.

Зубатый приехал без предупреждения и застал охотоведа Чалова врасплох. Испуганный и смущенный, Чалов бестолково засуетился, а тут еще увидел собак и окончательно растерялся.

– Забери их назад. – Зубатый передал ему спаренный поводок. – Они тебе нужнее...

И увидел, как Чалов заморгал, недоуменно задергал плечами.

– Анатолий Алексеевич... Я все понимаю, но подарок есть подарок...

– Извини, тогда нехорошо получилось. Пусть они ходят на охоту, что им в вольере сидеть?

– А когда же ты на охоту? Сейчас бы лося по чернотропу, с собачками, а?.. Егеря у меня отличились нынче, две чищенные берлоги нашли! В одну-то уж точно ляжет, и по первому морозцу бы...

– Приеду, – пообещал Зубатый. – Сразу после инаугурации.

Он уже сел в машину, когда охотовед опомнился:

– Что теперь с хозяйством будет, Анатолий Алексеевич? Жалко, столько труда вбили. Крюков, говорят, совсем не охотник.

– Говорят... Да ведь раз приедет, посмотрит и втянется.
– Нет уж. Если за душой страсти нет, не втянется.
– А ты его втяни.
– Я научу, что делать, – вдруг заговорил Чалов с оглядкой. – Угодья вместе со штатом надо передать Химкомбинату. Ты уйдешь туда генеральным...
– С чего ты взял? Кто сказал?
– Все говорят! Ты послушай меня!..
– Ладно, и так не пропадет, – ощущая прилив тоски, отмахнулся Зубатый. – Поехали, Леша!

Собаки на поводке сначала залаяли, потом заскулили, а когда джип развернулся, завyli низко, по-волчьи. Или этот вой был в душе и воспринимался лишь собственным ухом?

По дороге он немного успокоился, отвлекся, но, как ни старался, не мог отделаться от навязчивого голоса охотоведа и ощущал тихое недовольство. Дело в том, что, как только он сел в губернаторское кресло – еще не избранный народом, а назначенный президентом, в администрацию потянулся косяк «учителей». Каждый считал своим долгом чему-то научить Зубатого, каждый стремился прочесть лекцию по какому-то предмету, изложить свою, единственно правильную точку зрения, подсказать, поправить, объяснить. Учили все, от деревенских мужиков до директоров крупных предприятий и вузовской профессуры, давая уроки власти, экономики, политики, психологии, всего, вплоть до бытовых мелочей, будто он с неба упал и не ведает земной жизни. И Зубатый слушал, пока не увидел, что все эти наставники и учителя преследуют исключительно меркантильные интересы и блещут умом, чтобы понравиться губернатору, стать ему нужными, поднять свой престиж и войти в круг лиц, оказывающих на него влияние. Глядишь, он оценит, возьмет в свой аппарат или советником, назначит на должность, поддержит на выборах, поможет поставить спектакль, а то просто даст на бутылку.

И сейчас, отмахиваясь от навязчивых советов охотоведа, он внезапно подумал: что, если старуха с улицы Серебряной тоже из тех учителей, жаждущих наставить Зубатого на путь истинный, припугнуть, поставить в психологическую зависимость и в итоге повлиять на него для достижения каких-то своих целей?

Так он думал и утешал себя, пока не въехали в город, который разом отмел все иллюзии и надежды. Войдя в свой кабинет, Зубатый вызвал отдыхающего с утра Хамзата и предупредил секретаря, чтобы никого не впускали, однако пришел Марусь, отказать которому было нельзя, затем начальник финансового департамента, после него – начальник департамента культуры и пошло-поехало. Когда явился Хамзат, Зубатый закрылся на ключ, но сесть не пригласил, оставил на коврике у порога, откуда докладывали или держали ответ все провинившиеся чиновники. Начальник личной охраны, видимо, решил, что шеф опять не спал ночь и поставил на ковер из-за рассеянности, потому выждал пять секунд и шагнул было к приставному столику.

– Стоять! – не глядя, обрезал Зубатый. – Старуху вчера видел на Серебряной?

Горячего кавказского скакуна он взнуздывал редко, тем паче сейчас, когда уже не имел ни силы, ни власти. Хамзат противился удилам, вскидывал голову, мотал ею, уклонялся и все-таки еще не смел выплюнуть гремящий на зубах металл, поскольку не хотел, чтобы ему напоследок порвали губы. Он вмиг оставил все дурные привычки и лишь побрякал удилами.

– Да, видел.
– Хорошо запомнил?
– Горбатая, с кошелкой...
– Не горбатая, а сутулая.
– Анатолий Алексеевич, я не русский...
– Это известно. Срок – три часа. Возьми своих людей, подключи участкового... Кого там еще? Местных оперативников, домоуправление...
– Все понял.

– Ничего ты не понял! Установи, кто она и где живет. Не задерживай и вообще на глаза ей не показывайся. Это сугубо личное дело. Только принеси мне адрес и имя.

– Сделаю, Анатолий Алексеевич. – Звякнул удилами и при этом ухмыльнулся одними глазами – шоры бы ему. – Запомни мои слова. Не все потеряно, мы еще будем на горе. Только силы надо, чтоб подняться. Мы еще ладонь ко лбу приложим и посмотрим сверху.

Хамзат удалился, унося затаенную восточную улыбку.

Потом опять пошли, а вернее, крадучись от всех, побежали люди, чиновники поменьше, с единственным вопросом: что с нами будет? У многих оставалась надежда, подтвержденная лишь слухами, что Зубатый уйдет генеральным директором монстра химической промышленности, обогащающей ядерное топливо, а значит, будет набирать штат; кто-то рассчитывал, что он останется в администрации вице-губернатором... В общем, люди заботились только о своем будущем и откровенно старались понравиться и хоть чем-нибудь угодить. По слухам, в правительстве области многие жалели, что Зубатый ушел, некоторые относились нейтрально, и откровенным предателем оказался всего один – советник и эксперт по экономическим вопросам Межаев, который с началом избирательной кампании открыто перекинулся в стан Крюкова, как говорили, с надеждой на должность вице-губернатора. Зубатый давно чувствовал: этот обязательно когда-нибудь предаст, но держал возле себя как отличного специалиста. Конечно, Межаев давно вырос из должности и мог бы спокойно занять место Маруся, но куда того девать?

И вот неожиданно Межаев заявился в приемную экс-губернатора и стал требовать встречи. Зубатого это взбесило, он велел секретарше кликнуть телохранителя Лешу Примака, который выставил визитера за двери администрации, и распорядился больше никого не впускать. Он принимал только своих работников и давно отказался вести личный прием граждан, поскольку не обладал полномочиями и ничем помочь не мог, а обнадеживать пустыми словами не хотел. Однако секретарь-референт вдруг доложила, что уже в третий раз пришла молодая женщина по фамилии Кукшинская, требующая принять ее по личному, жилищному вопросу.

– Отправь к Марусю, – отмахнулся он. – Появится Хамзат – сразу ко мне.

К полудню начальник личной охраны должен был принести адрес сумасшедшей старухи, но не принес и в администрации не появлялся. Еще через час экс-губернатор попросил секретаря тайно пригласить Зою Павловну Морозову, председателя областного избиркома, сразу же усадил ее в комнату отдыха и велел никого не впускать.

С Зоей он работал и в комсомоле, и на Втором конном заводе, и потом еще много раз судьба сводила и разводила их, и Зубатый никогда не тянул ее за собой, как Мамалыгу, никуда не подсаживал; она шла за ним по собственной воле и ни разу ни о чем его не попросила. И сейчас тоже оставалась независимой, подчиняясь Центризбиркому, – в том и заключалась вся честность и прелесть отношений, о которых в администрации области никто даже не догадывался. По крайней мере, хотелось в это верить. Она была той самой рабочей лошадкой, способной тащить в гору любой воз без кнута и ропота, забыв о себе и личной жизни, и при этом обладая поразительной памятью на события, лица и ситуации. Как-то незаметно, неожиданно вышла замуж за пьяницу-конюха, родила, разошлась, умудрилась вырастить дочку между командировками, выдать замуж и теперь нянчила внучку – так выглядела официальная легенда ее скрытной жизни. Наедине он иногда называл ее комсомольским прозвищем Снегурка – это было что-то вроде пароля или предложения к доверительному разговору.

А доверие давно стало безграничным, поскольку, будучи еще председателем горисполкома, он выбрал из многих нейтральных, ни в чем не замешанных близких Зою Павловну и попросил страховать тыл – то есть отслеживать и анализировать любую информацию, от газетных заметок до слухов и сплетен, так или иначе касающуюся его как чиновника и личность. Шесть лет комсомольской работы на разных уровнях, в среде молодых, предприимчивых, склонных к интригам и просто подлых людей, в этой кузнице кадров для партийных орга-

нов и КГБ, где стучал каждый второй на каждого второго, его научили, как идти вперед, не опасаясь удара в спину. Снегурка честно работала все время губернаторства, но около года назад скромному чиновнику управления административных органов, даже не спрашивая мнения Зубатого, предложили место председателя избиркома.

Случилось это не потому, что Морозову наконец-то заметили и оценили; давний оппонент губернатора, Крюков, теперь уже бывший депутат Госдумы, победивший на выборах, готовил себе место, разрабатывал почву и через третьих лиц рассаживал «своих» людей в области. Придумать что-то новое в аппаратных играх и интригах было невозможно, поэтому комсомольская система всюду работала безотказно, как трехлинейная винтовка.

Естественно, принципиальная Зоя Павловна сняла с себя обязанности тайного помощника-информатора, и что теперь творилось у него в тылу, известно было лишь Крюкову...

Если бы не эта щепетильность, она бы наверняка узнала, почему Саша прыгнул с крыши дома...

Он пригласил Снегурку, не имея представления, как начать разговор, и потому рассказал все, о чем не мог поведать никому: от мучительной потребности приходить на Серебряную улицу в час смерти сына до ненормальной старухи и ее обвинений.

Зоя Павловна, как председатель избиркома, не чувствовала себя виновной, что он проиграл выборы, все было честно, и это тоже нравилось Зубатому.

– Ты мне скажи, кого я мог послать на муки? – Зубатый так расслабился в ее присутствии, что сам услышал отчаяние в своем голосе. – Кого я мог смертельно обидеть?.. Понимаешь, говорит, старца святого обрек на геенну огненную. И будто он – мой родственник, даже предок!.. Нет, это видно, она не совсем здорова. Но почему говорит именно такие слова? Ведь всякий бред имеет под собой реальную основу... И наблюдает за мной давно, не первый вечер, а заговорила на сороковой день, как погиб Саша... Что это?

– Здесь смущает выражение «геенна огненная», – задумчиво проговорила Снегурка и поежилась. – Она так и сказала?

– Так и сказала... Понимаешь, утлая такая старушонка, а говорит – и будто гвозди забивает. Такая сила в ней... И голос пророческий, это я потом только услышал. Нет, она не просто больная...

– Похожа на типичную кликушу, потому выводы делать еще рано, не все уж так плачевно, – заговорила Снегурка тоном доктора. – Вот словосочетание необычное, средневековое. Теперь и кликуши так не говорят. Геенна огненная – это ад.

– Ну кого я мог в ад отправить?.. Может, она имела в виду конкурентов на прошлых выборах?

– Не исключено...

– Но кто из них туда попал? Один в банке сидит, второй держит городской рынок. Ничего себе, геенна огненная!

– погоди, Толя, не горячись и не отчаивайся. Все это очень похоже на иносказание. – У нее была совсем не женская привычка – в глубокой задумчивости грызть ногти, отчего руки всегда напоминали руки хулиганистого, лишенного родительской опеки подростка. – Ты у отца давно был?

– Да уж скоро два года...

– На похороны не поехал?

– Куда ему? Три тысячи верст, да и хозяйство не на кого оставить...

– Он один так и управляется?

– Я же говорил, он упертый...

Отец остался в Новосибирской области и на переезд к сыну не соглашался. Он всю жизнь был совпартработником, как раньше писали, прошел путь от рядового комсомольца-целинника до первого секретаря райкома партии, а с началом перестройки публично проклял ген-

сека, уехал на заимку, завел фермерское хозяйство и все это время карабкался в одиночку, не принимая никакой помощи. Зубатый уговаривал его переехать к нему в область, предлагал на выбор самые лучшие земли, ссуду, технику и еще обещал покупать продукцию, однако старик стоял намертво.

– Рыночники хреновы! – резал правду-матку. – Государство в базар превратили, народное добро разворовали!

Однако когда Зубатый приехал с Сашей, то отец при виде внука неожиданно попытался скрыть свои коммунистические убеждения и верность партии, даже просил, чтобы оставили ему внука на год – настоящего мужика из него сделать. А свое нежелание уехать из Сибири объяснил так:

– У вас в России, – сказал, – кедра не растет. А я очень уж люблю шишкобойный промысел. Так что не поеду я...

Отец всю жизнь не особенно тянулся к родне, своих брата и сестру в последний раз видел лет двадцать назад, к сыну приезжал всего трижды, и в последний раз десять лет тому. Малой родины, куда начинает тянуть к старости, у него не существовало: родился под Астраханью, где после детдома оказался его отец, но прожил там год и переехал в Липецкую область, оттуда в армию, потом на целину, с целины на север Новосибирской области, где ему больше всего понравилось и где, сказал, умрет. В свои семьдесят отец еще лазал по деревьям, как обезьяна, накашивал сена на все хозяйство, доил коров, сбивал масло, обихаживал пасеку в сорок ульев – и все в одиночку! В переносном смысле, конечно, у отца была не жизнь – ад, но добровольный, из-за собственной комсомольской упрямости и своеобразного протеста против гибели Советского Союза.

– Дай мне подумать, – попросила Снегурка. – Я сразу так не готова ответить... А вот к отцу бы надо съездить, Толя.

– Скоро съезжу, будет время...

– Желательно вместе с женой и дочерью.

– Нет, пусть уж Маша сидит в Финляндии! Там хоть спокойнее.

– Это тебе спокойнее. – Она хотела добавить что-то еще, но не решилась и встала. – Старайся не думать об этой кликуше и о пророчествах тоже. А то мы чаще сами приманиваем беду.

– Как тут не думать? Из головы не выходит...

– Хотя, знаешь, Толя, в чем-то она права. Пойди в храм сегодня же вечером. Вместо того чтобы на Серебряной улице торчать.

Зубатый лишь вздохнул, но Зоя Павловна уже села на любимого конька и погоняла – пока что мягкой плеткой.

– Нет, ты постой в храме и послушай. Просто так, с закрытыми глазами, будто один стоишь и вокруг никого. Ну, если не можешь с народом, езжай в монастырь, там мирских на службе обычно не бывает, только послушники. Хочешь, я позвоню и тебя там примут?..

Раньше он отказывался довольно резко или вообще слушать не хотел и сейчас чувствовал, как противится душа, однако сказать о том вслух не посмел.

– Ты же знаешь, тесно мне в храме, даже когда пусто...

Зоя Павловна только руками развела, ушла к двери и оттуда словно бичом в воздухе щелкнула.

– А ведь старуха правду сказала: Господь нас через детей наказывает!

Снегурка давно и безуспешно пыталась привести Зубатого в храм, и это теперь скорее напоминало некий спор, поединок – кто кого. Сама она действительно была глубоко верующим человеком, еще с тех, комсомольских, времен, когда, переодевшись, чтобы не узнали, бегала в церковь. Откуда у нее это пошло, когда началось, даже сейчас, в пору абсолютной свободы совести, оставалось тайной, впрочем, как и ее религиозность. Большинство чинов-

ников аппарата демонстративно крестились, стояли со свечками, в разговорах оперировали евангельскими оборотами, нарушая заповедь не поминать всуе. А Зоя Павловна, как и прежде, снимала и так бедненький макияж, повязывала платочек до глаз и задами-огородами шла на вечернюю службу. В представлении Зубатого, это и было проявлением настоящей веры, и догадаться, отчего Снегурка всецело полагается на Божью волю, особого труда не составляло. Она и в комсомольской молодости была непривлекательной, все свободное время пропадала на ипподроме, с лошадьми, и почти не следила за собой. Ко всему прочему, еще в ранней юности упала с коня, сломала ногу и осталась немного хроменькой, хотя из-за подвижности, стремительности ума и уникальной памяти убогой никогда не выглядела. В горком ее взяли, потому что красавиц там сидело много, а работать всегда оказывалось некому. Когда Зубатый вырос из комсомольских штанов и его, физика-ядерщика по образованию, назначили директором Второго конного завода, Снегурка сама напросилась к нему зоотехником и три года не выходила из конюшен. Разумеется, личная жизнь у Зои не удалась, и, наверное, приходя на ипподром и в церковь, она чувствовала себя немного счастливей.

Однажды Зубатый все-таки пошел с ней на ночную пасхальную службу из чистого любопытства, но, промаявшись в душной тесноте часа полтора, надумал уйти, и когда кое-как разыскал Зою Павловну, даже подойти к ней не решился: в толпе убогих старух стояла не привычная серая мышка, а преображенная, красивая и какая-то очень уж нежная женщина.

Пожалуй, еще бы тогда Зубатый поставил первую вешку на дороге к храму, если бы не одно вопиющее обстоятельство. Эта истовая молеельница по жизни была на редкость несчастливым человеком, которого преследовало лишь горе и разочарование. В молодости она ведь наверняка просила у Бога хорошего мужа, а попался законченный алкоголик, конюх с конезавода, который после рождения ребенка чуть не зарезал ее, попал в тюрьму, где и сгинул от открытой формы туберкулеза. Зоя рвала жилы, поднимая дочь, потому как скоро ее мать неожиданно разбил паралич и она двенадцать лет пролежала, прикованная к постели, превратившись в капризного и даже злого ребенка.

Зоя Павловна вынесла все, и, казалось бы, после таких пыток просто обречена на достойную зрелую жизнь. Даже в самых тяжких Божьих испытаниях и наказаниях должен быть предел! Если его нет, значит, не может быть и самого всевидящего и справедливого божества. Кто-то есть, обладающий высшей силой, но тогда это не Бог.

Дочь Снегурки, говорят, красавица писаная, и года не прожила замужем, загуляла, связалась с черными, стала торговать на рынке, будто бы проворовалась и откупилась, а потом подбросила внучку матери и вот уже два года как пропала без вести. У начальника УФСБ была проверенная информация, что ее насильно вывезли из страны и продали сначала в Турцию, а потом в Арабские Эмираты.

Только об этом наказанной через своего ребенка Зое Павловне никто никогда не говорил.

После гибели Саши и особенно после вчерашней встречи на Серебряной улице Зубатый думал об этом и соглашался, что он сам жил без Бога и не всегда по совести и в общем-то, наверное, достоин кары с точки зрения религиозных догм. Но за какие же грехи этой святой женщине такое наказание? Когда в то же время местная братва, вчера еще державшая пальцы веером, сегодня сложила их в троеперстие и, валяя во рту жвачку, крестилась, жертвовала деньги, добытые разбоем, и по Божьей воле получала все блага от жизни. Ни у кого никто не умер, никто сам не заболел, не иссох – только морды толстели.

А чья же еще воля, если не Господняя, реализуется в храмах?

Сейчас, когда Снегурка ушла, повторив слова безумной старухи о наказании через детей, Зубатый вдруг подумал, что она наверняка знает о судьбе своей дочери. Слишком жестко и выстраданно произнесла эту роковую фразу!

И еще подумал: вот такая женщина, как Зоя Павловна, когда-нибудь окончательно постареет и станет тоже кому-то пророчествовать...

Хамзат явился лишь через шесть часов и теперь сам остался на коврике у порога. Он не привык проигрывать и почти не умел переживать поражение: все, что было в его кавказской, несдержанной душе, красовалось сейчас на смуглом лице. В спокойном, штатном состоянии начальник личной охраны казался вполне нормальным, даже немного меланхоличным, возможно, оттого, что был физически сильным человеком, хорошо знал свое дело и умел управлять подчиненными. Но при этом в нем все время тлел фитиль, готовый взорвать его в любое мгновение.

Когда-то Хамзат работал в контрразведке на закрытом предприятии, известном как Химкомбинат, говорят, успешно отлавливал шпионов, но с началом первой войны в Чечне его аккуратно уволили из ФСБ, хотя по национальности был ингушом, а чтобы не затаил смертельную обиду, предложили должность начальника личной охраны губернатора. Года полтора Зубатый горя не знал и нарадоваться не мог телохранителем, пока однажды тот не привел двух своих земляков с намерением взять на работу. Покоробило и вывело из себя даже не то, что они плохо говорили по-русски, были совершенно неизвестными людьми и один такой земляк уже работал; вывело из себя их бесцеремонное поведение, когда один пошел по кабинету, сунув руки в карманы, а второй сел, нога на ногу, и закурил.

– Ты мне еще дикую дивизию приведи, – пробурчал Зубатый. – Убери их отсюда!

У Хамзата и тогда было все на лице, однако он молча увел земляков, а потом у себя дома, находясь в трезвом состоянии, разбил топором всю мебель, и, когда начал рубить стену, соседи вызвали милицию.

К сожалению, начальник личной охраны сумел замять скандал, и Зубатый узнал об этом от Снегурки с большим опозданием и потому не уволил. Ничего подобного не повторялось, однако, наблюдая за Хамзатом и его земляком в самых разных ситуациях, Зубатый пришел к мысли, что его кавказцы, с точки зрения умеренного темперамента и холодного рассудка северного человека, чуть ли не постоянно находятся в состоянии аффекта либо балансируют на самом краю, что можно расценить как психическое заболевание – опять же с этой точки зрения.

Сейчас Хамзат едва удерживался, и рассудок его плавал кверху брюхом, как подморенная рыба, что больше всего выдавал сильно обострившийся акцент.

– Нет этой старухи на Серебряной улице. Во всем районе нет, в городе нет.

– Ты ее видел вчера? – спокойно спросил Зубатый.

– Видел! Как не видел! Вот она! – И выхватил листок с компьютерным фотороботом.

Портрет оказался абсолютно точным, все, как запомнил Зубатый, вплоть до старческих морщин вокруг губ и немного приспущенных книзу внешних уголков глаз – доброе, усталое лицо...

– Куда она шла с сумкой? – Он спрятал фоторобот себе в карман.

– В магазин шла!

– Она что, приехала из другого города, чтоб сходить в магазин на Серебряной?

– Не знаю, зачем приехала!! Откуда приехала!! Один город – полмиллиона людей!

Он пока слушался лишь по одной причине – вот-вот должен был остаться безработным, поскольку Крюков уже набирал свою команду охранников, и Хамзат надеялся, что шеф возьмет его с собой на Химкомбинат, откуда он когда-то и вышел в свет.

– Плохо, Хамзат Рамазанович. – Зубатый затянул повод и стал пилить удилами губы – так делают, если конь взбесился и понес. – Это называется профнепригодность. Вы не можете выполнить простого поручения. Не знаю, что вы делали в ФСБ и как выслужились до подполковника. Не в силах найти обыкновенную бабушку, с которой вчера столкнулись нос к носу! Ну что, мне из УВД кого-то просить? Или из вашей бывшей конторы?

Из состояния аффекта его можно было вывести только унижением, которое телохранитель переживал глубоко и болезненно. Но если бы наш мужик от этого дверью хлопнул или

очертя голову в драку бросился, невзирая на личности, то воспитанный на кавказских обычаях сын гор всегда признавал старшего по положению и возрасту, тут же смирился до подобострастия и готов был землю копытом рыть.

– Найду, Анатолий Алексеевич! Дело чести! Клянусь!

Зубатый не сомневался, но смущали сроки, а он со вчерашнего вечера постоянно думал о дочери и чувствовал нарастающую тревогу, которой заразил и жену: за день она звонила в Финляндию уже два раза, но трубку снимал Арвий и, изъясняясь на английском, говорил, будто Маша спит, поскольку «не могла этого делать ночью». Зубатый воспринимал все естественно, но доказать что-либо Кате было невозможно, и, судя по голосу в трубке, она опять впадала в истерику, умоляла разыскать пророчествующую старуху или приехать домой.

Он уже приготовился вытирать жене слезы, однако, отправив Хамзата, понял, что не уйдет, пока не будет хоть какой-нибудь информации от Зои Павловны, ибо это единственная надежда что-то прояснить. Если уж и она явится ни с чем, то надо в половине десятого снова становиться на пост у девятиэтажки на Серебряной улице и караулить кликушу, зная, что это бессмысленно: вчера она сказала все и больше не придет...

Все эти сорок дней после смерти Саши он с самого утра ждал вечера, чтоб пойти туда, и шел, если был в городе, и вдруг сегодня, прислушиваясь к себе, обнаружил полное отсутствие столь сильного и необъяснимого притяжения к месту гибели. Наоборот, после вчерашних пророчеств старухи появилось некое неприятие и даже отторжение и этого страшного дома, и самой улицы, будто он ходил туда, чтоб встретиться с кликушей.

Или уж впрямь существуют вещи мистические, недоступные разуму, и Сашина душа все еще прыгала с крыши на козырек, билась и звала, манила его, чтоб он своим присутствием облегчил муки, но на сороковой день они прекратились по чьей-то воле, и сразу же пропала всякая тяга...

К четырем часам Снегурка не пришла, и Зубатый решил ехать домой, попутно завернув в картинную галерею, чтоб открыть выставку художников-ветеранов: переключившись это дело на кого-то покровителю культуры не пристало. Референт на ходу отдал заготовленную речь, которую Зубатый сунул в карман, тут же забыл и оставил вместе с пальто на вешалке, потому стоял перед публикой, говорил какие-то слова, а сам чувствовал, как его анатомируют взглядами.

Пожалуй, во всех российских провинциях существовал определенный круг людей, называющих себя культурными лишь потому, что не пропускали ни одной выставки, премьеры спектакля, выступлений гастролеров, и, будучи совершенно разными, появлялись всюду в одном и том же составе, будто исполняя особый ритуал. Зубатый был уверен, что среди них есть те, кто искренне сочувствует ему и семье, кто равнодушен и кто откровенно смакует чужое горе, мол, наконец-то свершилось и губернатор пострадал – бесясь от жира, обкуранный его сынок с крыши сиганул. А вдобавок ко всему и выборы проиграл!

И все они, пришедшие сюда прикоснуться к прекрасному и вечному, с троекратным интересом сейчас щупают его глазами, поскольку всегда лицезрели сильным, властным и гордым, но сегодня он впервые появился на культурной публике, уже практически без власти и переживая личное горе. Вернувшись домой, они будут обсуждать не полотна художников, ибо выставка – явление более частое, чем вид траурного губернатора, а в который раз, вольно или невольно, по добру или со злом, но перемелют ему кости. В этом и заключался культурный провинциализм...

Зубатый разрезал ленточку, сунул кому-то ножницы и сразу же направился к выходу, но тут его перехватил старейший и уважаемый, но крепкий, бодрый и немного сумасшедший художник Туговитов.

– Примите мои соболезнования, – забубнил он искренне, но быстро. – Саша у меня был в мастерской, несколько раз. Я начал писать его портрет, и еще бы два-три сеанса – и закончил...

– Портрет? – Зубатый остановился.

– Да, поясной, средних размеров, – затараторил живописец. – Саша был удивительный юноша! Такие глубокие глаза!.. Он все время с девочкой приходил, подружкой. Хорошенькая такая, миндальные глазки и титечки торчком стоят, сосочки сквозь блузку светятся, золотые...

– У него не было девушки...

– Как же? Была, зовут Лизой! Я ее тоже писал. Символ чистоты и непорочности!.. И потрясающе талантлива! Я дал ей холст, кисти, и она тут же начала писать. Для первого раза очень даже!..

Зубатый внезапно вспомнил визиты Туговитова еще в первый срок губернаторства: приходил с предложением подарить областному центру триста своих полотен, но с условием, что для них построят дом-музей и чтобы там же была мастерская и квартира художнику. Прикинули затраты, и пришлось отказать.

Может, его обидел и отправил в геенну огненную? Но Туговитов не родственник, не похож на старца, тем паче на святого...

– Вы должны обязательно посетить мою мастерскую! – Художник тянул за рукав. – Это же удивительно, последний портрет, буквально за неделю до гибели. Неужели вы не хотите увидеть сына живым?

– Хорошо, зайду к вам и посмотрю портрет, – на ходу пообещал он. – Пожалуйста, не говорите о нем моей жене.

Натянул пальто, кепку и опомнился:

– А девочка? Девушка?.. Как ее найти?

– Есть телефон ее подруги. – Художник зашарил по карманам. – Я и подругу ее пишу. Такая свежая, грудастенькая, а губки все время чуть-чуть приоткрыты...

Он не дослушал, не дождался номера телефона и шагнул в распахнутые двери... И чуть не столкнулся на крыльце с Зоей Павловной, озябшей на ветру в бесформенном плащике, в котором она ходила в церковь.

– Я вспомнила, Толя, – на редкость эмоционально зашептала она. – Это было давно, как только тебя избрали на первый срок... Все вспомнила, восстановила события. По времени тоже. Старец пришел на четвертый день после инаугурации.

Они остановились в укромном месте на берегу реки, возле памятника коню: когда-то область занималась коневодством и шла ухо в ухо с конезаводами Дона и Кубани.

– Ну, и что дальше? – поторопил Зубатый. – Кто этот старец?

– Юродивый. Теперь понимаю, он был юродивым, а не просто бродягой. Он не местный, откуда-то пришел. Возможно, издалека. У нас таких никогда не было.

– Откуда ты знаешь?

– Ну, облик другой, и вообще... Я же работала в отделе административных органов, все крикуны были на учете. Да и наши старики не способны, нет такой дерзости. Была зима, помнишь? А он пришел босой, в рубище... Еще к старому зданию администрации. И стал кричать. Палкой грозил и кричал.

– Что он кричал? – Зубатого охватывал озноб, точно такой же, как вчера, после разговора с кликушей.

– А тебя звал!

– Меня?!

– Тебя, Толя, тебя. По фамилии звал – Зубатый. Говорят, часа полтора кричал.

– Что потом? Куда делся?

– Потом известно, кто-то позвонил, пришли милиционеры, забрали и увезли в отдел.

– И кто же он?

– Неизвестно, документов не было. В милиции сказал, ты – его правнук. То есть он твой прадед.

– Сколько же ему лет?

– Ну уж больше ста. Может, сто десять...

– Такого быть не может! В таком возрасте – и ходит босой? Нет, тут что-то не так!..

– Может, Толя, юродивый все может. Его врач осматривал, примерный возраст подтвердил. У них там есть свои способы... Его подержали сутки и выпустили. А он снова пришел к администрации и закричал...

– Что же ты ничего не сказала тогда? – постукивая зубами, спросил он. – Я же просил, чтобы все, что случилось...

– В тот момент сама ничего толком не знала. Но примерно через неделю я тебе говорила о нем.

– Говорила?

– Ну конечно! Но в то время столько юродивых приходило! Всякий народ лез, проходимцы, авантюристы... Дети лейтенанта Шмидта. Ты послушал и, наверное, забыл.

Зубатый сел на ступени постаменты памятника и сжался, чтоб унять дрожь.

– Потом что было? – спросил сквозь зубы.

– Старца опять забрали и отправили сначала в дом престарелых, а потом вроде бы в психушку. Или сразу туда, я точно не знаю. А в наших диспансерах и в самом деле ад крошечный...

– В какую? Куда?

– Да, наверное, в нашу. Нужно поднимать документы в милиции, в нашей больнице...

Он не стеснялся своего озноба перед Снегуркой, но в десяти шагах маялся молодой телохранитель Леша Примак и мог видеть, как экс-губернатора колотит. Почему-то даже в такую минуту ему было не все равно, что могут подумать о нем...

– Стой! – Зубатому вдруг стало жарко. – Зачем он приходил? Помощи просил? Или что сказать хотел?

– Я же тебе говорила! – Голос у Зои Павловны стал неприятно визгливым, как у торговки. – Повторить и то страшно... Тогда думала, просто сумасшедший старик, самозванец, псих... Не узнала святого, имени не спросила... А он ведь предупреждал нас! Кричал!

Зубатый надвинулся на нее и снял кепку.

– Что?! Что кричал?

Снегурка облизнула пересохшие губы, сглотнула этот чужой голос и глянула снизу вверх.

– «Боги спят! Что же вы так шумите, люди? Если молитесь, шепотом молитесь и ходите на цыпочках. Разбудите богов до срока, опять нас беда постигнет!..» И еще что-то говорил... А к тебе пришел, чтоб ты царю об этом сказал...

В этот миг она сама напоминала блаженную...

3

На следующий день, когда внутренняя паника немного улеглась и положение уже не казалось таким опасным, как вчера, Зубатый попытался выстроить собственное отношение ко всему происходящему, поскольку тонул в неопределенности. Он делал так всегда, если в каком-то сложном вопросе не видел никакого выхода: садился за стол и, рисуя на бумаге символические фигурки зверей, которые обозначали людей и связанные с ними события, таким образом растаскивал ситуацию на составляющие. Затем сортировал картинки, раскладывая по кучкам плюсы и минусы, уничтожал, что взаимно уничтожалось, и получался своеобразный сухой остаток, с которым можно было работать.

На сей раз и это не помогало, поскольку из-под фломастера выходила лишь овца, под которой подразумевалась дочь, и в голове сидела единственная мысль – сейчас же поехать в Финляндию. Он понимал: под собственное крыло не посадишь и от судьбы не убережешь, однако все утро думал о Маше и дважды звонил в Финляндию (дочь еще не проснулась), пока взгляд не наткнулся на фотографию отца. Снимал еще Саша, в ту, последнюю, поездку: отец стоял в белом, трепещущем на ветру халате среди ульев на пасеке, высокий, худой, как жердь, дымарь в руках, шляпа-накомарника на голове, загорелое лицо под черной сеткой словно затупшевано, и отчетливо видно лишь клочок седой бороды...

Очень похож на юрдивого.

Лет пять назад у него передохли пчелы, пропали в тайге две из четырех коров (по слухам, напакостили местные), заклинил двигатель единственного трактора и не уродилась кедровая шишка. Зубатый со дня на день ждал, когда отец запросит пощады, ибо, несмотря на хорошую физическую форму, возраст и усталость от неудач не позволили бы еще раз подняться из пепла. Но в это время к нему приехал местный писатель с колючей и скользкой фамилией Ершов, попил со стариком медовухи, а потом опубликовал в своем журнале пространный очерк о силе русского характера. И ведь, наглец, Зубатому прислал, дескать, погордись своим отцом, господин губернатор!

Отец был человеком тщеславным, что всю жизнь старательно скрывал, и по головке его никогда не гладили, все больше против шерсти, и от этого, прочитав о себе хвалебный опус, прослезился и настолько вдохновился, что продал квартиру в Новосибирске, машину, снова купил пасеку, коров, коня, отремонтировал трактор и остался на заимке.

Два года назад, когда Зубатый приезжал к нему с Сашей в последний раз, старик все еще светился от радости, хотя возрожденное хозяйство опять шаталось: сливочное масло, мед и кедровый орех посредники брали за гроши, а самому торговать на рынке стыдно, многие до сих пор узнают, да и хозяйство не бросишь. Нанимать же людей, эксплуатировать чужой труд для истинного коммуниста ни в какие ворота. Писатель, натоптав дорожку, заглядывал к отцу часто и все больше сводил его с ума, вселяя какие-то сумасшедшие надежды. На обратном пути Зубатый попытался отыскать Ершова в городе, однако сказали, будто он спрятался у себя на даче.

Ехать к отцу он решил в один миг и взялся было за телефонную трубку, но вспомнил, что свободен, что теперь не нужно докладывать в администрацию президента и объяснять причину выезда за пределы области, а надо всего-то – оставить записку жене: Катя опять всю ночь бродила по дому и теперь спала беспробудно. Правда, дорогой в аэропорт он все-таки отзвонился Марусю, но больше по дружбе, чем по долгу. В самолете он как-то незаметно успокоился, мысли об отце, о его немереной упрямости вдруг потеряли обычный критический мотив. А что ему, прожившему всю жизнь на людях и во имя людей, оставалось делать, когда его публично опорочили, опаскудили, с ног до головы облили грязью? Не его лично, а партию, в которой он состоял, и великое коммунистическое дело, которому он служил искренне и честно. Вначале у

него было настроение собрать таких же преданных партийцев и выйти с пулеметами на Красную площадь против изменников и предателей, однако скоро он резко и навсегда отказался от всякой борьбы, и не потому, что остыл, образумился – вдруг увидел: не с кем умирать на площади! Народу много, все кричат, возмущаются, но не с кем.

Вот тогда он ушел от людей на заимку, к крестьянской работе: наверное, отцу было очень важно доказать свою жизнеспособность и полную независимость. Теперь и ему, Зубатому, светит та же участь, ибо лучшие годы позади, а после смерти Саши незаметно пропала всякая охота карабкаться куда-то еще, и он серьезно раздумывал, нужен ли ему Химкомбинат. Губернатор области, как ни говори, удельный князь, хоть и надо подданным кланяться и за ярлыком в Москву ездить, а что такое ядерное производство в закрытом городе? Да, вроде бы хозяин, но только внешне; на самом деле никакой самостоятельности, все под жесточайшим контролем.

Не лучше ли, как отцу, уйти на хутор? Вспомнить время, когда руководил конным заводом (ведь чему-то научился за три года!), и завести ферму. А то ведь на всю область, когда-то известную своими рысаками и тяжеловозами, осталось три десятка лошадей, и если оценивать благополучие населения по количеству голов тягловой силы, то нищета кругом стояла невообразимая.

С такими мыслями Зубатый и летел, и ехал, и потом шел пешком заснеженной и грязной лесной дорогой. Жизнь в этом углу замерла еще лет пятнадцать назад, когда дорубили сосновые боры и древние кедровые рощи, леспромхоз закрылся, избалованный длинным рублем, народ разбрелся в поисках прежнего достатка, бросив таежные деревеньки вдоль реки, и на всю округу, площадью со среднее европейское государство, осталось менее десятка живых душ. Туземное население отличалось редкостным недобрососедством, жили каждый на своей заимке, в гости друг к другу не ездили, сгорали от зависти, если что-то кому-то удалось, не радовались, а чаще строили пакости, поскольку жить и промышлять на огромной территории приходилось чуть ли не бок о бок: плодоносные кедряки чудом сохранились только в речной пойме, здесь же были покосы, пастбища, да и сами хутора, оставшиеся от поселков, стояли по одному берегу через три-четыре версты. Никто не знал причины такой разобщенности, говорят, в старину о подобном и не слыхивали, но отец, как человек пришлый, объяснял по-своему: дескать, местные признаться не хотят, а на самом деле это старые, чисто сибирские таежные законы, возвращенные новой властью, ибо при капитализме, в эпоху беспощадного рынка, человек человеку волк.

Отцова заимка стояла у обрывистого песчаного берега, который подмывало каждую весну, и в воду летели покосы, огороды и постройки. Старый и еще крепкий дом, бывший когда-то крайним, оказался первым и единственным, стоял теперь почти над водой – вся деревня давно ушла в реку. Отец даже не пытался укреплять берег, да это было бессмысленно: легкий и текучий песок древней пустыни (вокруг отчетливо просматривался дюнный ландшафт, ныне покрытый лесом и мхами) можно было заправлять в песочные часы. Он загадал: проживу столько, сколько выстоит дом, и если свалимся, то вместе. Непонятно, что случилось, но разрушение материка остановилось, высокий белый яр слегка выположился, и песок затвердел до наждачной твердости. От завалинки до края обрыва оставалось три с половиной шага, и вот уже несколько лет это расстояние не уменьшалось ни на вершок.

Едва Зубатый вышел из леса, как на заимке залаяла собака, злобно и яростно, будто на чужого. В густых сумерках было светло от свежего снега, отчетливо виднелся дом, длинный рубленый коровник, сарай и могучие скирды сена, уже вывезенные с лугов и сметанные на хозяйственном дворе, вот только окна оказались черными, без огонька. Несмотря на отдаленность и уединенность, отец не отказывался от благ цивилизации, при керосинке или в темноте никогда не сидел, вечерами зажигал свет даже во дворе, сам обычно смотрел телевизор и потому денег на электростанцию и горючее не жалел. Зубатый приблизился к изгороди, посвистел, окликнул собак и тут увидел среди них чужую – уроду на коротких лапах с головой

овчарки. На миг стало тревожно и знобко, но в это время из сарая вроде бы выбился свет и вышел отец – его сухопарую, высокую фигуру спутать было невозможно.

– Кто там? – окликнул он.

– Это я, папа! – Зубатый ощутил волну тепла.

– Ну? Вот так гость на ночь глядя. – Отец отогнал собак, а уroda посадил на цепь. – Давай заходи...

Он всю жизнь был человеком сдержанным и суровым. Можно не видеться несколько лет, но при встрече лишь руку подаст и пожмет по-товарищески – не обнимет, не расцелует и вообще никак не выдаст своих чувств. Мать умерла слишком рано, и Зубатому всегда не хватало отцовской ласки.

– Что без света сидишь?

От отца пахло коровами и парным молоком.

– Дойка у меня, энергии не хватает...

Зубатый ждал тяжелого вопроса о гибели Саши – а чем еще мог встретить скорбящий дед? Однако ни о чем не спросил, запахнул белый халат, ссутулился и заспешил назад. Коровник, срубленный отцом еще в начале своего фермерства на «вырост», был заполнен до отказа – голов тридцать на привязном содержании, причем коровы черно-пестрые, породистые. В теплом парном воздухе горел длинный ряд лампочек, кругом покой, чистота и лишь назойливо зудели портативные доильные аппараты. Однако более всего удивило другое: сам отец вроде бы лишь контролировал работу, а доили три женщины разного возраста. Два года назад о наемном труде отец даже мысли не допускал.

– Ты развиваешься, – непроизвольно заметил Зубатый, но отец, похоже, расценил это как похвалу, хмыкнул, взял бидон с молоком и открыл дверь.

– Иди сюда.

В рубленой пристройке, обшитой пластиком и напоминающей операционную, оказалась сепараторная. Отец вылил молоко в резервуар и ткнул кнопку. Видимо, хотел произвести впечатление, погляди, мол, все по последнему слову технологии – не произвел, и потому спросил хмуро:

– От трассы пешком пришел?

– Таксисты не едут...

– Мог бы подождать, через сорок минут придет машина. Два раза в день ходит, утром и вечером, с молочного комбината – сливки туда сдаю. Ты это запомни на будущее.

Надел очки с резинкой и, превратившись в колхозного счетовода, стал выписывать накладные.

Через четверть часа дойка закончилась, фляги с отсепарированными сливками и обрат погрузили на тележки и вывезли по бетонной дорожке к воротам. Женщины тут же разобрали сепаратор, вымыли части горячей водой, прополоскали и поставили в жарочный шкаф: работали быстро, старательно и как-то невесело, непривычно молча – не то что колхозные доярки. Отец дождал, когда они переоденутся, проводил на улицу, выключил свет и лишь тогда спросил мимоходом:

– Надолго пожаловал?

– Да нет, как всегда...

– А что теперь – как всегда? – намекнул он на свободу от губернаторства. – Погостил бы...

– Некогда, пап...

– Ну, тогда пошли. – Отец повел не к дому, а в обратную сторону. – Мою ферму ты видел, коровки элитные, из Голландии. Привередливая скотина! Наша что попало жрет, и солому за милую душу. Этой же заразе особое сено подавай, овощи, комбикорм – шестнадцать наименований всяких добавок! С ума сойдешь. Но зато молока до восемнадцати литров за удой!..

А тут потомство, молодняк, двадцать четыре головы. Это у меня золотой запас. Ты знаешь, сколько сейчас стоит элитная годовалая телка?

Он будто забыл о смерти внука, хотя Зубатый подспудно все еще ждал расспросов, может быть, каких-то горьких или просто слов соболезнования, утешения, но уж никак не экскурсии по хозяйству.

– Не знаю, – отозвался он грустно. – Должно быть, дорого...

– Тебе что, не интересно?

– Нет, почему? Интересно. Откуда все? Клад откопал или чужие деньги отмываешь?

Отец не обиделся, а вроде бы даже самодовольно снова хмыкнул.

– Клад нашел... Видишь, сруб? Еще один коровник. Хотел каменный поставить, да ведь в деревянном животному лучше, надои увеличиваются. Проверенный факт... А теперь пошли на берег.

В углу двора, за поскотиной, выходящей к реке, оказался фигурный бетонный фундамент, на котором заканчивали рубить первый венец из бревен, более метра в толщину, а рядом, присыпанный снегом, высился штабель такого же леса, но распиленного по длине на две пластины. Подобные древние сосны еще кое-где торчали по тайге, возвышаясь над лесом раза в три; деревья оставляли семенниками еще в тридцатых годах, своеобразными сеятелями, и они сделали свое дело. Молодые боры давно заполонили старые вырубki и уже матерели, а эти сосны медленно и долго умирали, засыхая на корню. Ни одна буря не могла повалить их, и разве что молния иногда расщепливала их от вершины до корня. Местные жители гнали сухостой на дрова, а когда он закончился, то стали валить и живые деревья, поскольку сосны в четыре обхвата не лезли в пилораму и вообще никуда больше не годились. Помнится, отец сам пилил крепкие, белые, хрупкие от спелости кряжи и ворчал, дескать, такой материал жжем в печах, дом бы поставить из него – на века хватило... И вот, кажется, решил.

Чуть дальше начатого сруба торчал автокран и строительный вагончик, в окошке которого горела керосиновая лампа, и дымок вился из железной трубы.

– Неужели дом будет? – спросил Зубатый.

– Верно, угадал. Я рассчитал: девять венцов и двухэтажный дом на подклете. Где-нибудь видел такое?

– А что же так близко от обрыва?

– Почему бы нет? Геологи заезжали, сказали, ставь. Река русло меняет. Меандра скоро отомрет и превратится в старицу.

– На века строишь, – намеревался похвалить Зубатый, но не получилось. – Ты извини, но на какие шиши все? Я тебя предупреждал не брать черный нал, ни у кого! Денег тебе дадут, но потом отнимут и дом, и коров, и все хозяйство...

Отец поднялся на сруб и сел.

– Значит, батя у тебя дурак? Ничего не соображает? А ты поучить приехал? Как хозяйство вести, у кого деньги брать...

К его неласковости он давно привык и с годами, взрослея, относился к этому с иронией, в ответ на строгость смеялся, обнимал родителя, а тот выворачивался и ворчал:

– Перестань! Не люблю. Телячьи нежности...

Но сейчас он не чувствовал желания все свести в шутку и раззадоривать понапрасну отца. Напротив, то ли оттого, что любящий дед ни словом не обмолвился о внуке, то ли сыграла застарелая, живущая с юношеских лет страсть не соглашаться с отцом, беспричинно перечить ему, Зубатый ощутил неожиданный толчок неприязни.

– Ну, поучи, поучи! – еще больше разогревал отец. – Сам-то кто ты теперь? Видел я по телевизору, как тебя прокатили. Пацан какой-то свалил! А? Что? Если бы был настоящим губернатором, хозяином в области, отцом семейства, кто бы тебя тронул?.. Приехал весь в говне и еще учит! Нет бы порадоваться за отца...

Следовало сразу задавить назревающий конфликт на корню, подчиниться отцу, покаяться, но он чувствовал, как ко всему прочему примешивается неясная, подростковая обида, и вот уже в глазах зажгло – будто слезы приступают.

– Да я бы порадовался, но не узнаю тебя, – сквозь зубы проговорил он. – А где принципы? Убеждения? У тебя наемный труд, эксплуатация человека человеком, капитал... Бывший секретарь райкома.

– И это ты меня учишь? – зло изумился отец. – Ты меня мордой в принципы тычешь?

– Что вижу, то и говорю...

– С волками жить – по-волчьи выть! Я убеждений не меняю. А моих работников при любом режиме приходится эксплуатировать. Потому что лодыри! Колхоз на паи разодрали, коров по дворам развели, технику за полгода прожрали! Теперь пришли – возьми, с голоду помрем!.. А эти мужики?

Указал на вагончик гневной рукой и вдруг умолк. Зубатый нагреб снегу с бревен и растер лицо – в глазах вроде бы похолодело.

– Ты бы хоть о Саше спросил! – Обида вырвалась наружу, но без прежней жгучей боли.

– А что спрашивать? – Он неторопливо спустился вниз и направился в сторону дома. – Пошли со мной.

Еще оставалось желание не подчиниться, однако это выглядело глупо. Зубатый поднял кейс и двинул по размашистым отцовским следам.

В крестьянском дворе и в подклети когда-то держали всю живность, и в доме раз и навсегда поселился особый, специфический запах скота, старого жита и преющего дерева. И кто бы ни жил здесь, каким бы ни был чистоплотным, этот дух оставался неистребимым, но неосязаемым для хозяина. Однако запах бросался в нос всякому человеку со стороны, и нужно было не один месяц прожить в этих стенах, чтобы привыкнуть и больше его не чувствовать. Сколько бы Зубатый ни приезжал к отцу, так и не мог привыкнуть к запахам и сейчас, шагнув через порог, готов был зажать нос и дышать старался ртом. В избе ничего не изменилось: все та же мебель, перевезенная из города, книжный шкаф с собраниями сочинений коммунистических теоретиков, на стенах, вперемежку с бумажными копиями картин, почетные грамоты и благодарственные письма, развешанные так, чтобы не выдавать тщеславие хозяина.

Зубатый вошел, как мимолетный гость, поставил кейс и присел у входа. Отец на то внимания не обратил, аккуратно снял сапоги, прошел в горницу и через минуту вынес оттуда пластиковый пакет.

– Что спрашивать-то? – проворчал и сунул пакет под нос. – На, нюхай! Чем пахнет?

Понять, что там, было невозможно: отовсюду несло запахом скота, перепревшим навозом и старым хлебом.

– Не чую... Что там?

– Конопля! На Федоровской заимке возле летней фермы ее чертова прорва растет.

– Ну и к чему это?

– Сашка рюкзак набрал, говорит: во, сколько кайфу привезу! В аэропорту нас не проверяют, ходим через зал каких-то там персон... Я отнял, на его глазах спалил и по затылку настукал. А он на Федоровскую сбегал и еще пакет принес. И это почти два года назад! А за это время немало воды утекло, на дурное дело его много не надо.

– Нет, он не был наркоманом, – помолчав, проговорил Зубатый. – Прокуратура все проверила... Некоторые его приятели курили и даже кололись, а сам – нет.

– А это что? – Отец потряс пакетом. – Вот это прокуратура видела?.. Обкурился до чертиков и прыгнул! Говорил тебе: оставь после школы у меня хотя бы на год. Побоялись, воспитают коммунистические идеалы, в артисты отдали!.. Ты наркотики пробовал? Нет! И я нет, и мой отец. Чего же твой сын на них набросился?

Казалось бы, наконец они заговорили о самом главном, но, слушая отца, Зубатый вдруг вспомнил, зачем приехал – выяснить свою родословную, узнать, жив ли и вообще может ли существовать его прадед.

Однако отец слова не давал вставить:

– Вы все советскую власть хаите, партию клянете! А при нас была такая наркомания? Была пропаганда? Шприцы при нас раздавали?.. Да только одни лагерники заразу эту потребляли, и то не все. Ну, изредка сыночки больших начальников от жиру бесились. А нынче что?

Дальше пошла обычная риторика, замешанная на обиде, Зубатый слушал вполуха, размышляя, как бы начать разговор о родне. Отец же еще больше распалился:

– За сыном не усмотрел, а воспитывать меня приехал! Откуда деньги взял, наемный труд!.. Я у тебя на развитие копейки попросил?! Нет, все сам нашел. С помощью надежных друзей! С чего вот ты невзлюбил товарища Ершова? Что он тебе сделал? А вон как взъелся на него!..

– Нечего пожилых людей обманывать! – Зубатый все еще чувствовал отчуждение. – Тешить сказками...

– Сказками?! Посмотри вокруг, вот это сказка! Один за целый колхоз работаю. – Отец рассмеялся самодовольно и невесело. – Между прочим, Михаил Николаевич вовремя шепнул, когда «Родину» начнут банкротить. И помог кое-чем. Ты же соображаешь в капитализме, знаешь, кто устраивает банкротство и с какой целью? Помнишь, совхоз-миллионер был?.. Только наживы эти акулы не получили. С помощью Ершова я у них совхозное имущество из-под носа увел. Часть имущества выкупил, часть забрал через арбитражный суд. Им крохи достались. С волками надо по-волчьи! Они думают, лишь у них клыки с акульим загибом. Вот откуда коровки взялись, техника. А ты грамоте учить приехал! Чудило!

– Да, ты уже ученый, – не сразу отозвался Зубатый. – Не за тем я ехал...

– Тогда зачем? Думал, пожалею? Вместе поревем?

– Скажи, пап, ты отца своего хорошо помнишь?

– Конечно, помню, хоть и малой был еще...

– А он что-нибудь рассказывал о своем отце? О твоём деде?

– Мне-то что он мог рассказать?.. Знаю, мой батя из беспризорников. Мать говорила, родителей помнил смутно. Как и я его, в общем-то... А ты это к чему спрашиваешь?

– Настала пора с родней разобраться, – уклонился Зубатый. – Мне же через год пятьдесят... А он что-нибудь рассказывал о детстве? Откуда родом, кто родители? Как он в беспризорники попал? Родители умерли или сбежал?

От таких вопросов отец немного потеплел и неожиданно погрузился. Вообще-то он не любил вспоминать прошлое, и если когда говорил о своем детстве, то всегда скупой и неохотный, мол, одна нужда, голодовка. Кроме него было еще четверо младших, сестра и три брата, но выжили сестра, брат и он. И то потому, что в неурожайный на картошку год ушел с сестрой к чужой одинокой старухе, в село за семьдесят верст. А в пятидесятом мать надорвалась на лесосплаве и умерла, младших разобрали материны родственники, а его отправили в город, в школу ФЗО.

– Кто его знает? Может, и сбежал. Мать говорила, с поезда его сняли где-то. И поместили в детский дом. Коммунисты заботились о детях, в три года извели беспризорность. А нынче сколько ребятишек по вокзалам живут?

– Где был детский дом? – невзирая на «лирические» отступления, продолжал Зубатый. – В какой области?

– По-моему, в Новгородской. Документов не сохранилось, изба сельсовету отошла. Да и какой там детский дом? Как мать рассказывала, колония для несовершеннолетних. – Отец вдруг спохватился: – Давай хоть поужинаем. А то сидим, как неродные... Правда, выпить

нечего, медовухи нет, пасеку давно продал, а вина не запас, не ждал гостей. Да что-то в последнее время и не хочется...

Вымыл руки под медным рукомойником и засуетился возле русской печи. А Зубатый мысленно уцепился за название области и будто бы услышал в нем что-то знакомое и полузабытое: кажется, кто-то уже произносил это слово – Новгородская...

– Теоретики до конца не оценили благотворное влияние труда на развитие человеческой личности, – рассуждал отец, собирая на стол. – Тяжелая физическая работа притупляет чувства, практически исключает понятие радости бытия. Это я на себе испытал. От чрезмерного труда душа черствеет, ожесточается, человек становится замкнутым и нелюдимым. И все потому, что в рабский превращается сам образ жизни и включается инстинкт самосохранения – желание выжить любым путем...

Видимо, таким образом он пытался оправдать неласковую встречу с сыном, однако Зубатый всю жизнь помнил его таким и, бывало, в школьные годы неделями не видел отца, все время разъезжавшего по району. У него и тогда был не совсем вольный образ жизни, но при этом существовала радость бытия, поскольку мать все время ревновала и допытывалась у водителя, к кому он заезжал, где ночевал.

– В Новгородской области, наверное, детских домов было немного, – предположил Зубатый, возвращаясь к разговору. – Ну, один-два. Установить можно, если сохранились архивы...

– Что тебе архивы? Мать говорила, детдом располагался в каком-то бывшем монастыре, – между прочим вспомнил отец, когда уже сели за стол. – И рассказывала один случай... Там, в церкви, захоронение было, гробница какого-то святого. Так они раскопали, достали череп и им играли. Антирелигиозная пропаганда была... А нынче что, не играют черепами?

– Может, и фамилию дали в детдоме? По прозвищу, например?

– Фамилия родовая, – уверенно заявил отец. – И деды наши были жестянщиками-медниками.

– Откуда такая информация? – изумился Зубатый.

– Мой батя с раннего детства запомнил стук молотка по медному листу. И даже сам потом пробовал гнуть и выстукивать из жестянок всякие поделки. И у него получалось! Умение выполнять какую-то работу передается по наследству, от отца к сыну, в генах. Я отлично помню бубенчики на нашей корове, батя сам делал...

– Значит, способности к руководству мне от тебя достались?

– Нет, – серьезно сказал отец. – Это не передается, это горбом зарабатывается, стремлением.

– А где они жили? В городе, в деревне?

– Кто знает? Жестянщики могут везде жить. Может, какая-то промышленная артель... Не понимаю, чего ты так допытываешься?

Та вдруг вспыхнувшая неприязнь к отцу почти растворилась, но оставалась еще некая полупрозрачная пленка, сквозь которую трудно было смотреть открыто и говорить откровенно.

– Тебе что, не интересно прошлое? – увернулся Зубатый. – Сейчас все опомнились и ищут свои корни...

– Ладно врать! – оборвал он. – Что-то ты скрываешь, парень. Приехал, как с неба свалился, вроде и по Сашке горюешь, а чего-то недоговариваешь... Скажи лучше, куда тебя поставили? В Думу, в министерство?..

– Да пока никуда.

– Как так? Ты теперь в новую номенклатуру попал, на улице не оставят.

– Мне сейчас и думать об этом не хочется...

– Вижу, другое у тебя в голове... Но никак связать не могу: у человека сын погиб, работу отняли, власть, а интересуется его родня.

– Сам пока ничего связать не могу, – отмахнулся Зубатый.

– Ну, как хочешь, – мгновенно отдалился отец. – Я за душу никого не тяну.

После ужина он собрал посуду, сложил в таз, но мыть не стал: вероятно, и в доме появилась работница, везде чувствовалась женская рука. Похоже, вместе с расцветом хозяйства и нравы у отца поменялись, по крайней мере, перед сном даже телевизор не включил, лишь на ходики глянул да показал на кровать в горнице.

– Ложись там, завтра рано вставать...

Однако сам сразу не уснул, ворочался, вставал и пил воду, что-то в окна высматривал. Зубатый несколько раз начинал дремать, но отчего-то вздрагивал, ощущая беспокойство, и потом долго прислушивался к звукам в доме. Совершенно неожиданно он обнаружил, что не чувствует больше непривычных крестьянских запахов и одновременно как-то незаметно исчезла эта мутная пленка перед глазами. Он полежал, прислушиваясь к своему состоянию, и спросил негромко, в пустоту:

– А бабушка говорила, как звали твоего деда?

Показалось, отец заснул – вроде и дыхание ровное, размеренное, и тишина в избе дремotalная...

– Раз отца звали Николай Васильевич, значит, Василий, – вдруг сделал тот заключение. – А жил, скорее всего, в селе под названием Соринская Пустыня или Пустынь, точно не знаю.

– Что ж ты раньше не сказал? – Зубатый привстал.

– Да это все приблизительно. У нас на целине агроном был, откуда-то из Черноземья родом. Так вот он по молодости работал в этой Пустыни и говорит, там половина населения с фамилией Зубатый. А село это вроде как раз в Новгородской области или где-то рядом.

– Вот видишь! Уже есть где искать!

– Может, я еще что вспомнил бы, – после паузы проговорил отец. – Коль знать, кого ты собрался искать.

– Пока сам не знаю кого. Ко мне человек приходил, старец. Не совсем здоровый человек, будто юродивый. Моим прадедом назвался. А я его не принял, не поговорил... Тогда их много приходило...

Отец так долго молчал, что снова почудилось, спит, но вдруг скрипнула кровать, и послышался совершенно бодрый голос:

– Значит, он существует.

– Кто – он? – машинально спросил Зубатый.

– Твой прадед. Мать о нем перед смертью вспоминала. Будто отец говорил, мол, если не вернусь, не одни на свете остаетесь. Поищите деда Василия, он жив, люди видели. Он хоть и старый, но ведь мужик...

Он прилетел в полдень и потому, не заезжая домой, отправился на работу с единственным желанием повидать Зою Павловну, обсудить с ней последние новости и ехать дальше, в Соринскую Пустынь, если она еще существует. Едва Зубатый вошел в кабинет, как следом заглянула секретарь-референт и сообщила, что к нему идет Крюков. Желания встречаться с ним не было, но отказывать поздно: вновь избранный губернатор уже входил в сопровождении двух своих доверенных лиц, исполняющих обязанности помощников, телохранителей и просто слуг. Зубатый всем подал руку, предложил сесть, однако дружки застыли у порога, а сам Крюков прошелся по кабинету, заглянул в комнату отдыха и встал, облокотившись на подоконник.

Ему только что исполнилось знаменитых тридцать три года. Тип лица у него был молодой, подростковый, плохо росла борода, и, видимо, зная об этом, он все время старался быть серьезным, смотрел чуть исподлобья, держался степенно, независимо, и все равно отовсюду торчали мальчишеские уши. За четыре года в Думе он пообтесался, научился носить дорогие гражданские костюмы, говорить складно, жестко, с холодным лицом, заметно умерил неумеренные пыл и страсть.

Зубатый отлично помнил его, когда Крюков поднимался из народных глубинных пластов к свету своей политической звезды, вернее, поднимали его всем областным миром, чтобы противопоставить двум криминальным авторитетам из разных группировок, оказавшимся кандидатами в одном округе. Командиры производства, чиновники и интеллигенция уже не вызывали доверия у людей, поэтому расчет сделали верный, и начальник клуба из танкового полка, расквартированного за чертой города, человек из офицерских низов, прошел с хорошим отрывом.

Правда, потом Зубатый в сугубо личной беседе предупредил Крюкова, чтобы он больше никогда и нигде не говорил, что отец его – алкоголик, и парень с детства карабкался и пробивался сам. Конечно, это обстоятельство сработало во время встреч с избирателями, сблизило с народом, возможно, повлияло на доверие: мол, он такой же, как мы. И хорошо, не нашлось никого, кто дал бы ему тем же салом по мусалам: дескать, ты что же, сын алкоголика, законы нам станешь сочинять? Или хуже того, подвернулась бы злоязыкая бабенка и отчихвостила красноухого лейтенанта, чтобы уважал отца, каким бы он ни был, не позорил принародно и не зарабатывал себе на этом очки. В общем, Зубатый все это популярно объяснил, молодой депутат бледнел, краснел, каялся и обещал исправиться.

Скорее всего, урок этот оскорбил его, остался незарастающей раной на самолюбии, ибо уже через год Крюков встал в оппозицию губернатору. Упрямство, ловкость, напор и трезвый прагматизм бывшего начальника клуба, его чистая победа во втором туре – все это Зубатому даже нравилось, и хотя червяк грыз, что молодой обошел, но ведь когда-то это должно было случиться. А потом, после гибели Саши, смысл и азарт борьбы спал до безразличия, свое поражение он расценивал как освобождение от тягостной обязанности что-то говорить и обещать людям.

И ладно, все бы ничего, но то ли урок впрок не пошел, то ли имиджмейкеры перестарались, а может, просто в отместку Зубатому, Крюков и в эту кампанию не стеснялся и даже бравировал своей родословной. Тут бы со стыда сгореть – а он по телевидению снова обличал отца, рассказывая, как родитель бил его головой о стену, и самое удивительное, его слушали, жалели, и не находилось человека, который бы ткнул его носом: дескать, коли головой били, все ли сейчас с ней в порядке? А то, может, вранчу показаться?

Зубатого подмывало публично проговорить эти слова, и команда подталкивала врезать сыну алкоголика. Из военного училища даже получили справку о том, что за период учебы его четырежды отправляли в госпиталь по причине повышенной нервной возбудимости, проще говоря, от волнения начинал трястись и заикаться, но отчислен не был опять же из-за своего трудного детства. Несколько раз Зубатый решался и отказывался в последний момент, и не потому, что это бы выглядело не совсем чисто плотно с человеческой точки зрения: все-таки соперник еще молод и неопытен, а он старый аппаратный игрок и для него это вроде как запрещенный прием. Смущало и приводило к растерянности другое – полное отсутствие у избирателей иммунитета ко лжи, ибо становилось ясно, что «трудное детство» – хорошо проработанный прием, а примитивные способности к анализу атрофировались, исчез «задний ум», которым был силен русский человек, но неистребимо чувственное мировосприятие, когда разум спит глубоким сном. То есть брошенный старый лозунг «голосуй сердцем» работал, как кремлевские часы.

С другой стороны, это неплохо и говорит о том, что, несмотря на унижение, ограбление, нищету и прочие передраги последних лет, люди не озлились и все еще остаются чистыми, непорочными и сострадательными. В переводе на язык современного мира – безумными.

И здесь была его, Зубатого, вина: за десять переходных лет, сидя в губернаторском кресле, он обязан был подготовить и перевести население в мир новых понятий, идеалов и ценностей. Но как-то не поворачивался язык открыто сказать, что теперь человек человеку – волк, а не товарищ и брат, как он говорил в комсомольской юности...

Теперь пришел молодой энергичный прагматик, способный устранить его недоработки и в считанные месяцы поправить положение, ибо обладает доверием того самого безумного населения.

Встретив гостей, Зубатый вернулся в кресло и, как ни в чем не бывало, стал перебирать в столе бумажки и вещицы, накопившиеся за эти годы. Крюков полюбовался пейзажами города из одного окна, потом из другого – не похоже, чтобы радовался видами из своего будущего кабинета, что-то его томило, и он явно не знал, как начать.

Сразу же после победы вновь избранному губернатору до официального вступления в должность выделили помещения в старом здании, где сам попросил. Он собрал небольшой аппарат из своей команды и теперь сидел, примеряя хомут, оглобли и рабочую, без лент и бубенчиков, дугу. Зубатый не вмешивался, да и после трагедии не до этого было; и сам победитель на удивление проявлял такт, не приставал, работая с заместителями, которые, по некоторым сведениям, уже зондировали почву относительно своей судьбы.

– Анатолий Алексеевич, у меня есть две новости. – Он вроде бы пробовал шутить, но как-то невыразительно, потому как улыбка была не настоящая. – Одна хорошая, вторая плохая. С какой начать?

Зубатый оставил бумажки.

– Хочется положительных эмоций.

Крюков придвинул стул и сел на посетительское место. По тому, как тянул длинную паузу, можно было догадаться, что собрался выдать какую-нибудь гадость.

– Отлично, – улыбнулся лишь тонкими губами, а глаза оставались холодными. – У вас есть желание остаться на месте губернатора? Признайтесь, ведь нелегко уходить после десяти лет?

– Нелегко, – признался он. – Но желания нет.

– Я бы уступил вам.

– Юмор принимается. Что дальше?

– Это я вам серьезно говорю.

– Тогда вы просто великий оригинал.

– Ну, хорошо. Это шутка, извините. – Он спрятал глаза. – Предлагаю вам должность вице-губернатора. Прошу вас, не спешите с ответом. Есть время подумать.

И это он считал хорошей новостью! Неужели серьезно намеревался облагодетельствовать, проявить снисхождение к побежденному сопернику? Или что-то придумал? Например, таким образом заполучить тяглого мерина?

– У вас же есть господин Межаев! – наигранно изумился Зубатый. – Спит и видит это место.

– Межаев еще не дорос, я считаю.

– А мне все время казалось, перерос...

– Он знает свое место. А на этой должности я хотел бы видеть вас.

– Спасибо, я отказываюсь без раздумий, – бесцветно произнес Зубатый. – Чтоб не путаться у вас под ногами. Я старый комсомольский вождь, а сейчас нужны новые мысли.

Крюков не стал настаивать и уговаривать, принял к сведению и почему-то обеспокоился.

– В таком случае плохая новость вытекает из хорошей. Предлагаю отложить инаугурацию на одну неделю.

– Не вижу оснований, – сухо сказал Зубатый.

– Объясняю. – Он еще чем-то был недоволен. – Я привлек экспертов из Москвы, начал изучать финансовую и экономическую ситуацию в области и пришел к выводу, что здесь не все благополучно. Прежде чем вступить в должность, мне потребуется несколько проверок и экспертиз, а это займет время.

В первый миг мелькнула мысль – он что, намерен подтянуть его под уголовную статью? Запугивает, чтоб согласился на унижительную должность вице-губернатора? А зачем еще нужны проверки?

В противовес своим согражданам у Зубатого было гипертрофированное чутье ко лжи во всех ее проявлениях, отчего он глубоко и тихо страдал, ибо жил в пространстве, где она, эта всесильная ложь, имела три измерения, и уровень правды оценивался по тому, какой процент вранья она содержит, а высота благородства – по тонкости и качеству неправды. Так вот, глядя на Крюкова, он почти сразу ощутил тонкую шелковую нитку лжи, которой были прошиты все его слова, и настолько искусно, что скрадывалась конечная цель.

– Финансовые проверки можете сделать, вступив в должность, – отпарировал Зубатый. – Мои грехи – это мои грехи, к вам не пристанут, и скрываться я не намерен.

Вероятно, Крюков не ожидал столь резкой отповеди, рассчитывал на компромисс и на минуту растерялся.

– Анатолий Алексеевич, это в ваших интересах – без проблем передать хозяйство.

– Принимайте – передам! Хотя сегодня.

– Если бы вы согласились на мое первое предложение, никаких вопросов не стояло бы вообще.

Все-таки ему нужен был пахарь, черносошный крестьянин...

– Что-то я не понимаю вас, – усмехнулся Зубатый. – Все время стремились к власти, а когда она оказалась в руках, возникают какие-то вопросы... Вы что от меня хотите?

– Перенести срок инаугурации.

– Да ведь я здесь не распоряжаюсь. Обязанности исполняет Марусь, все вопросы к нему. Я человек уже посторонний, пришел вот личные вещички забрать, мусор из стола выгрести.

– Что вы мне говорите? – вдруг вскричал и сразу же осадил себя Крюков. – Марусь без вас не принимает ни одного решения. Департаменты все вопросы согласуют с вами. Так кто здесь распоряжается, уважаемый Анатолий Алексеевич?

– Согласен, определенная инерция существует, – признался Зубатый. – Но это естественно при передаче полномочий, многие проработали со мной все десять лет, сказывается сила привычки. Не вижу причин для паники. Тем более нет смысла откладывать инаугурацию. Приходите и работайте.

– И все равно я вынужден перенести срок!

– Ваше право. Я сейчас же покину помещение.

Он вскочил и тут же сел, видимо, спохватившись, что ведет себя по-мальчишески, слишком эмоционально.

– Я просил бы вас не делать этого.

– Что не делать?

– Покидать... Уходить. Я пришел не для того, чтобы выставить вас. Наоборот, и это прозвучит неожиданно: попросить остаться до инаугурации. И продолжать... скажем так, консультации исполняющего обязанности губернатора и руководителей департаментов.

Он говорил правду, чему Зубатый тихо изумился. Ошибиться он не мог, если только за этой правдой не было какого-нибудь слишком изощренного вранья. Но тогда где бывший армейский завклубом научился так блестяще, с убедительностью поистине кремлевской, лгать?

– Заместители с работой справляются, не вижу смысла в таких консультациях, – отчеканил он.

– Я никому из них не доверяю, – заявил Крюков. – И более всего – Марусю. Они при вас работали хорошо, а сейчас каждый готовит себе базу, запасные позиции. И есть факты.

– А мне вы доверяете? – Зубатый не мог, да и не хотел скрывать сарказма, однако тот не услышал или услышать не пожелал.

– Вам доверяю.

– Спасибо, но я вынужден отказаться, не называя причин.

Крюков встал, задвинув стул, застегнул пиджак и сделал знак доверенным лицам. Те солдатски четко удалились за дверь.

– Да, мои проверяющие работают, и им требуется время, – заговорил он, глядя в стол. – И вместе с тем, должен сказать откровенно, мне лично нужна неделя отсрочки. Дело в том, что тяжело заболела мать. И мне необходимо вывезти ее из Кемеровской области. Самому, лично – надеюсь, понимаете почему. Да и она просто ни с кем не поедет... Вывезти сюда на жительство и организовать хорошее лечение. Здесь я это могу. Там она не протянет и месяца.

На последних фразах он стал заикаться, часто заморгал и слегка искривился рот, – видно, задавливал в себе слезы и пытался справиться со своим лицом, вышедшим из повиновения. Этот его физический недостаток, скорее всего, и был следствием отцовских истязаний. Крюков его стеснялся, все время тщательно скрывал, однако на удивление его гримасы и внезапное искривление лица очень нравились женщинам. Они говорили, будто все это создает редкий мужской шарм, делает лицо мужественным и сильным, дескать, сразу видно, что этот человек много чего пережил, а потому должен быть благородным и снисходительным. А некоторые, склонные к физиогномистике женщины вообще утверждали, что внешний физический недостаток Крюкова – признак еще не раскрытой гениальности.

– Что ж ты сразу не сказал? – проворчал Зубатый, смиряя желание оттрепать его за оттопыренное красное ухо. – Конечно, езжай! Потерплю я неделю...

– Благодарю вас. – Он по-военному развернулся и пошел было к двери, но что-то вспомнил, замялся. – И еще... Личная просьба. Не могли бы вы уехать из губернаторского дома к моему возвращению? Хотелось бы привезти маму сразу на место...

– Съеду, – пообещал Зубатый.

И, глядя ему вслед, подумал, что надо бы при случае спросить у Снегурки, если Бог наказывает отца с матерью через детей, то бывает ли наоборот? Чтоб наказывал детей через родителей?

4

Ждать Снегурку долго не пришлось, случай представился через минуту, едва Крюков покинул кабинет. Должно быть, в администрации уже знали о приезде Зубатого, и выстроилась своеобразная очередь. Зоя Павловна отворила дверь и осталась на коврик для нагоняев.

Тогда, расставшись у памятника лошади, они не договаривались о встрече, Зубатый ни о чем ее не просил, поскольку с такой же гипертрофированной силой чувствовал правду. Известие о кричащем юродивом старце возле старого здания администрации его не то чтобы поразило или шокировало – вызвало глубокое чувство потери, сравнимое разве что с потерей сына. В этом состоянии он и ушел от памятника, даже не попрощавшись со Снегуркой.

И вот она стояла, виноватая, напряженная, бледная, хотя и раньше не отличалась здоровым цветом лица, с редкими волосиками, зачесанными назад, бесцветными бровями, ресницами и заострившимся носиком, как у покойника.

– Извини, Толя, я к тебе по поводу нашей психиатрической больницы...

Зубатый после замешательства вскочил, увел в комнату отдыха, чуть ли не насильно усадил в кресло, и все равно она осталась натянутой и скованной, словно замороженная изнутри. Только для порядка спросила:

– Ну, как съездил?

– Нормально...

– Как там отец?

– Процветает...

– Старец, Толя, десять месяцев содержался в отделении, где раньше была детская лесная школа, – вдруг заговорила она без всякой подготовки. – Место там называется Лыковка, и речка... Это недалеко от твоей дачи. Там до сих пор находятся женщины и все престарелые больные... Он и в больнице твердил, что приходится родственником, и все рвался к тебе. Ему начали колоть препарат, но это не помогло... Да, кстати, твой отец что сказал? Может он быть прадедом? Ты ведь за этим ездил?

– Не может, а есть. И имя ему – Василий. Только меня смущает... и возраст, и еще... Откуда он взялся? Где жил?

– Этого я, конечно, не знаю. – Она помялась. – Но я разговаривала по телефону с одним доктором, который его очень хорошо помнит. Может, слышал фамилию – Кремнин, Сергей Витальевич? Он в областную думу баллотировался, но не прошел...

– Не помню... Где сейчас старец? – поторопил Зубатый.

Снегурка окончательно смутилась, растерялась, что с ней случалось редко, и заговорила, будто скрывая внутреннее негодование:

– Договорилась с главврачом, приеду и сама прочитаю историю болезни, поговорю с персоналом, а он поднимет документы и установит, куда перевели старца. Ты можешь не верить, но он действительно святой, и его многие запомнили. Не только Кремнин и санитарки, но даже больные... Никаких вопросов не возникало, главврач любезный был... И надо было сразу же ехать! А у меня внучка заболела... Вчера звоню, а он, так вежливо... отправляет в департамент здравоохранения. И ничего не объясняет. Чувство, будто с кем-то проконсультировался, подстраховался и получил взбучку... Пошла к Шишкину, а он, как всегда, руки вверх – распоряжений не давал и вообще ничего не знаю... Толя, меня катают, как мячик, обидно, но не в этом дело. Ладно, если пошла новая метла... А если медики хотят что-то скрыть?

– Что у тебя с внучкой? – спросил он.

– Ничего, температура. В детском саду опять инфекция, ОРЗ... Толь, нажми на Шишкина, он тебя боится, увернуться не посмеет. Здесь что-то нечисто! Даже очень грязно, я чувствую.

Начальника департамента здравоохранения Зубатый знал все с той же комсомольской юности, когда тот еще был секретарем первичной организации второй городской больницы и звали его просто комсомолец Коля Канторщик. Чиновником он считался неплохим, обладал артистизмом, юмором, но человеком был на редкость неудачливым, и больше всего из-за желания схитрить, обжегорить, зайти с черного хода, когда перед тобой распахнуто парадное. Он страдал из-за своей еврейской фамилии Канторщик, решив, что с ней высокой карьеры не сделать, и потому, заключая брак, взял фамилию жены, таким образом став Николаем Дмитриевичем Шишкиным. Продвинулся с ней до главного врача и понял, что прогадал, поскольку времена изменились и с «девичьей» фамилией расти стало легче. Вернуть же назад ее никак не удавалось, скорее всего, из-за тайного сговора между заведующей ЗАГСом, городским архивом, потерявшим документы, и начальником паспортно-визовой службы, который уверял, что нашел документы, где значится, что Канторщик – фамилия не родовая, а взятая отцом Николая Дмитриевича в двадцатых годах, вероятно, тоже из карьерных соображений. Рассказывали байку, будто главврач сам себе даже обрезание сделал, поскольку мечтал перебраться в Москву, где вроде бы нашел ход в нужное управление министерства. И когда вернулся из самовольной отлучки, с «прослушивания», и пришел каяться, возмущался трагично и весело:

– Слушай, Алексеич, ну как жить бедному человеку с фамилией Шишкин? Представляешь, захожу на этот консилиум, а там одни жида! Тель-Авив, кнессет! Я и картавил, и на иврите базарил, и на идише – сидят, глаза выпучили. Фотографии показывал: вот мой папа, вот мама, вот тетя, и анфас, и в профиль, никакой реакции. Ну хоть штаны перед ними снимай!

После Чернобыля он все-таки сделал карьеру на том, что устраивал экологические походы и бунты возле закрытого города-спутника, где располагался Химкомбинат. Толку от этого не было, монстр остановиться не мог, равно как и невозможно было изменить вредный технологический процесс, однако еще в советские времена шум поднялся на всю страну, и Шишкина на плечах демонстрантов внесли на место начальника здравоотдела облисполкома, где он стал фигурой харизматической.

Доброжелатели доложили, что Шишкин уже трижды проскальзывал в старое здание, на прием к перебежчику Межаеву, который диктовал в штабе кадровую политику, и будто бы возвращался вдохновленный. Возможно, потому не захотел помочь Зое Павловне, и первую просьбу заглянуть к экс-губернатору проигнорировал. Не сориентировался в обстановке, не успел узнать о карт-бланше, который ему только что вручил Крюков, решил лишний раз не светиться в коридорах и приемной у Зубатого. А тот сам пришел к Шишкину, застал его врасплох и обескуражил до крайности: кажется, медик еще не определился, как вести себя, и разрывался на части. Однако изобразил радость.

– Ну, как съездили, Анатолий Алексеевич? Как там Сибирь?..

– К вам обращалась Зоя Павловна и получила отказ, – недоуменным тоном сказал Зубатый. – Что-то я ничего не понял, Николай Дмитриевич.

– Она интересовалась вопросом, не входящим в ее компетенцию, – сориентировался Шишкин. – И я не отказал! Я сам не имел информации.

– Морозова выполняла мое личное поручение.

– Ваше? – будто бы изумился он, а сам лихорадочно соображал, как себя вести.

– Мое.

Он окончательно потрянул растерянность, широко развел руками:

– Ну, Анатолий Алексеевич, не знаю! Вы поступили легкомысленно. Зачем посылать Морозову? Пришли бы сами, и мы бы все решили... Не понимаю, зачем вам потребовались медицинские документы на этого бродяжку?

Ничего подобного он себе никогда не позволял, и если у Зубатого были просьбы, даже не касающиеся его лично, – устроить в больницу какую-нибудь бабулю, ребенка из глухой деревни, подобрать бесплатных лекарств для отдаленной поселковой больницы, – то выпол-

нялись немедленно и без лишних слов. Вероятно, Шишкин получил заверения Межаева, что войдет в новое правительство и экс-губернатор больше не нужен: ведь наверняка получил все-стороннюю информацию, знал, о каком «бродяжке» идет речь, и откровенно хамил.

– Вот я и пришел сам, – смиренно сказал Зубатый. – Решайте, желательно в моем присутствии.

Шишкин рассмеялся с холодными глазами.

– Займитесь чем-нибудь другим, Анатолий Алексеевич! Психушки, мученики совести, бродяги – отработанный материал. Сейчас уже не проходит. Я понимаю, вам нужно за что-то зацепиться, заняться чем-то конкретным, важным для общества. Ну почему обязательно нужен дом страданий и его обитатели? Почему такие крайности? Насколько я помню, вы любите коней? Так вам и карты в руки – возродить племенное поголовье. Был бы у вас пенсионный возраст, я бы посоветовал возглавить общество потребителей.

Это было явным издевательством, но не над ним лично и не с целью оскорбления – Зубатый слишком давно и хорошо знал Шишкина. Таким образом он пытался выкрутиться, отшить экс-губернатора, и если пошел на такие крайние меры, значит, не хочет или боится подпускать кого-либо к теме психбольницы.

– Распорядитесь, чтобы дали возможность ознакомиться с историей болезни, – внешне невозмутимо потребовал он. – Дело-то пустяковое.

– На первый взгляд – да. – Шишкин поднял палец и завертел глазами – что-то не учел и теперь начнет пятиться назад. – Но оказалось, не такой уж это пустяк. Я отлично помню этот случай. Лет восемь назад, верно? Старик под окнами выкрикивал вашу фамилию. Да, типичная шизофрения... Хорошо, только ради вас, Анатолий Алексеевич. – Шишкин положил перед ним бумагу и ручку. – Напишите заявление, попробуем отыскать. А в качестве мотивации... Скажем, был депутатский запрос.

– Что отыскать? – из последних сил сдерживался Зубатый.

– Историю болезни. Придется делать запрос в Минздрав, нужны основания. Вы полагаете, я сейчас достану из стола и все вам покажу? Нет, больного перевели за пределы области, разумеется, вместе с историей. Нужно набраться терпения, дело не скорое. И если учесть, что пациент психически болен, не адекватен, не имеет гражданских документов... И не известно, жив или нет.

Детектор лжи у Зубатого зашкаливал, как всегда в таких случаях вызывая гнев.

– Если так сложно, то, пожалуй, не хлопчите, – спокойно сказал он. – Правда, дело того не стоит.

И ушел неторопливой походкой скучающего бездельника.

Руководитель департамента не должен был, да и по своему положению не мог знать ничего о судьбе безымянного, безродного старика, попавшего в местную психушку, даже если он подходил и кричал возле администрации. Таких крикунов, буйных ходоков, бывших стекла, молодых и старых отчаявшихся людей в разное время милиция увозила десятками, не исключено, кто-то из них и в больницу попадал, а вот поди же ты, Шишкину запомнился именно этот старец! Зоя Павловна, работавшая тогда еще в городском управлении административных органов, и то не сразу вспомнила о юродивом. В рядовое дело вникать чиновник высокого ранга не станет, а он в свое время вмешался и теперь пытался перекрыть доступ к информации, запретив главврачу показывать какие-либо документы, – значит, тут действительно было нечисто.

Вернувшись в кабинет, Зубатый пометался из угла в угол, вдруг физически ощутив замкнутое пространство. Даже если сейчас заявиться в больницу, ничего не получится: директива спущена сверху и ее будут выполнять – сам в течение десяти лет строил властную вертикаль. А главврач, сидящий на этом месте такой же срок, отлично знает, куда отправили юродивого старца из бывшей лесной школы. То есть нужно найти человека, который имеет с врачом доверительные отношения или доступ к информации.

А может, подключить к этому прокурора, которого он когда-то подсаживал на это место и с которым всегда были приятельские отношения – не раз вместе ездили на охоту?.. Думал ли когда-нибудь, что придется искать обходные пути?

От размышлений оторвал звонок мобильного телефона, жена плакала в трубку, мол, тебя носит по стране, а Маша до сих пор спит, толстокожий ее муж ничего не делает и даже врача не вызвал. Катя уже собралась немедленно лететь в Финляндию, но только сейчас обнаружила, что кончилась долгосрочная виза – все одно к одному! Зубатый попросил ее отвезти паспорт в турагентство, пообещал выправить самую скорую туристическую визу, кое-как уговорил (и себя тоже) подождать еще день – бывает же, человек после бессонницы и стрессов спит по трое суток, и ничего особенного, нормальная защитная реакция организма, но сам еще больше встревожился. Угрозы старухи были вполне реальны, неожиданно замозжило левую руку. Он тут же набрал телефон Хамзата, с которым не связывался все это время, не мешая работать.

– Ты где находишься, Хамзат Рамазанович? – спросил как можно спокойнее.

– Возле какой-то деревни, в Тверской области, – доложил кавказец сквозь шумные волны.

– А что делаешь?

– Трактор взял, машину тащить. Застрял на поле, ехать нельзя.

– Как ты там оказался?

– Старуха по городам ходит, людей лечит от всяких болезней. К нам приходила, женщину от бессонницы лечить. Год уже не спала, теперь спит. Нашел эту женщину, спросил, утром, говорит, села в автобус на Тверь. Я сегодня поехал за ней. На хвосте сажу, где-то она близко.

– Тебе нужно быть не в Тверской, а в Новгородской области. – Зубатый чувствовал, что злится. – Отыщешь там деревню Соринская Пустынь, где-то на реке Соре. Понял?

– Старуху искать, деревню искать? Я один, в поле стою! Машина застряла!..

– Старуху можешь не искать. Найди Соринскую Пустынь!

– Дорог нет, хоть пешком иди!

– Иди пешком! – рявкнул Зубатый.

Он вышел в приемную, где сидел настроженный и сосредоточенный Леша Прима, некоторое время смотрел на него, потом на секретаря, будто вспоминая, что хотел, затем махнул рукой телохранителю:

– Поехали!

И когда оказался в машине, все вылетело из головы, куда собирался, зачем, и больше минуты просидел, массируя кисть левой руки.

– Куда едем, Анатолий Алексеевич? – напомнил о себе Прима.

– А куда нам нужно? – спросил тупо.

– Вчера вы открывали выставку, и к вам художник один подходил, старик...

– Ну и что?

– Думаю, надо заехать к нему и расспросить о девушке, – отчего-то краснея, проговорил Леша. – Она должна что-то знать.

– Поехали. – Участие этого парня, а больше его скрытое сострадание окатило теплом и согрело замерзающие мозги.

Лешу привела на работу его мама, совершенно незнакомая женщина из книжного магазина. Записалась на прием, два месяца ждала очереди, еще в приемной часа два помаялась, чуть ли не за руку втащила сына в кабинет и сказала:

– Возьмите его себе. И вам будет спокойно, и мне. Из армии вернулся, воевать научился, а работы нет. Это же беда, в бандиты пойдет.

Морской пехотинец отвоевал полтора года в Чечне, после чего еще три служил по контракту в личной охране командующего Южным округом. На Хамзата пришлось узду накинуть, и он недели три удила грыз, косился кровавым глазом и все-таки уволил своего земляка – лишних мест не было. Зубатый смотрел на Лешу и не хотел верить в его боевое прошлое: мягкий,

застенчивый, слово скажет и смущается. Первое время он ходил в наряд на охрану губернаторского дома, Сашу знал хорошо, и когда все случилось, несколько дней молчал и вдруг выдал:

– Не верю я, сам он прыгнуть не мог.

И еще через день усомнился:

– Правда, у молодняка мозги жидкие. А на жидкости извилин не остается...

Схлопотав себе славу покровителя искусств, Зубатый вынужден был время от времени заглядывать в мастерские художников, в основном к юбилярам, поэтому местные традиции знал и по пути заслал Лешу в магазин за водкой и закусками. Этот полусумасшедший, упертый и одержимый народ практически жил в мастерских, даже если не запивал горькую, потому был вечно голодный, похмельный и возвышенный.

К Туговитову он приезжал несколько лет назад смотреть картины, приготовленные в дар городу, и остался разочарованным, что и повлияло потом на решение не строить ему дом. Живописец собрал все старые, шестидесятых и семидесятых годов, работы, модные и актуальные для того времени: в основном промышленные пейзажи: дымящиеся и переплетенные трубы, парящие локомотивы, рабочие с кочергами на плечах, краны и железобетонные конструкции. Промышленности в области хватало, но ядерной либо с ней сопутствующей, потому существовал строгий режим секретности, и писать ее не разрешалось, а писать было необходимо, чтобы не отставать от времени и попадать на значительные выставки, потому основной натурой для художников служили кочегарки и городская ТЭЦ. Туговитов и писал их, с разных сторон и во всех ракурсах.

Когда-то за такие полотна давали ордена и звезды героев, от всего этого веяло юностью, могучей поступью великого государства, но сейчас картины прошлого смотрелись как знаки погибшей цивилизации. Они, наверное, имели цену, но чисто историческую, может быть, искусствоведческую, поэтому Зубатый сразу же решил, что галерею для этого строить не станет. Опытным глазом художника Туговитов заметил настроение губернатора, попытался исправить положение и вместо труб потащил со стеллажей другие картины, но впечатление уже сложилось, и теперь требовалось время, чтобы его исправить.

Сейчас Зубатый ехал к нему без предупреждения, без какой-либо подготовки, как раньше. Их никто не встречал, и они с Лешей оказались перед железной дверью с кодовым замком. По первому этажу на окнах стояли мощные решетки: художников уже несколько раз обворовывали, и некогда открытые всему миру мастерские чудаков и странников превратились в крепость. Постояли, потоптались с пакетами в руках, как бедные родственники, но тут откуда-то вывернулась девица, покосилась на дядей, нажала кнопки, и они воровато проникли за ней в полутемный, заваленный подрамниками и досками, коридор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.